Мастера. Современная проза

Джон Бэнвилл



Афина

Роман

Афина
Джон Бэнвилл

Аннотация
Джон Бэнвилл. Афина
~~~
1. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДАФНЫ, ок. 1680. Иоганн Ливельб (1633–1697)
~~~
2. ПОХИЩЕНИЕ ПРОЗЕРПИНЫ, 1655. Л. ван Хобелейн (1608–1674)
~~~
3. ПИГМАЛИОН (название полотна — Пигмалион и Галатея), 1649. Джованни Белли (1602–1670)
~~~
4. ИЗБАВЛЕНИЕ СИРИНГИ. Иов ван Хеллин (1598–1647)
~~~
5. ПОХИЩЕНИЕ ГАНИМЕДА, 1620. Л. Э. ван Олбейн (1573–1621)
~~~
6. МЕСТЬ ДИАНЫ, 1642. Й. ван Хольбейн (1595–1678)
~~~
7. АКИД И ГАЛАТЕЯ, 1677. Ян Вайбель (1630–1690)
~~~

~~~
~~~

Аннотация

Это — ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ДЕТЕКТИВ.

Но — детектив НЕОБЫЧНЫЙ.

Детектив, в котором не обязательно знать, кто и зачем совершил преступление. Но такое вы, конечно же, уже читали…

Детектив, в котором важны мельчайшие, тончайшие нюансы каждого эпизода. Возможно, вы читали и такое…

А теперь перед вами детектив, в котором не просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ ФИНАЛА — но существует финал, который каждый из вас увидит и дорисует для себя индивидуально…

Джон Бэнвилл
Афина

Посвящается Антони Шийлу

~~~

Любовь моя. Услышь меня, если слова достигают тех миров, где ты, быть может, сейчас страдаешь. Мне нужно тебе кое-что сказать. На исходе еще одного глухого года я брожу по мрачным переулкам нашего квартала, и в мыслях моих — ты. Не знал, что один предмет может так долго маячить перед горящим мысленным взором. Один предмет — ты. Ты. С наступлением сумерек начинается дождь. Капли нарождающихся воспоминаний сгустками темноты косо летят мимо фонарей. Странно, как к вечеру пустеет город; куда уходят люди, все вдруг? Словно это я расчистил улицы. Сзади ко мне подкрадывается автомобиль, со скрипом задевая шинами края тесных тротуаров, мне приходится вжаться в какой-то подъезд, чтобы уступить ему дорогу. Зловещий, лоснящийся, неживой, он проползает мимо, переваливаясь по булыжникам, за рулем — манекен без лица, на ветровом стекле — дождевые брызги. С надменным смешком отпихивает меня и катится дальше по переулку, выпустив из-под брюха ленивое облачко выхлопа, и его
~~~

леденцово-оранжевые задние огни тонут, тают в мокром сумраке. Да, это мой срок. Комендантский час.

Мысль о тебе рождает три образа: рот издыхающей рыбы, в который я просунул пальцы; зернистую внутреннюю поверхность самых заповедных уголков твоего тела, также под пальцами; и набухающее, трепещущее горло великой певицы — кто она? — на третьей, задержанной ноте во второй «аллилуйя» Шубертовской «Die junge Nonne» («О ночь! О буря!»). И еще многое другое, конечно, но эти три материи, не знаю почему — в первую очередь. (Прошу прощения, кстати, что сопоставил тебя с той рыбой; я выудил ее, когда был ребенком, и больше никогда не поймал ни одной, но хорошо помню ее, бедную, выдернутую из родной стихии и захлебнувшуюся воздухом.) Мне страшно подумать, в каком виде запомнился тебе я: как зрячий одноног, вздымающийся и скользящий к тебе, что-то в таком духе, надо полагать. И однако же, что мы создавали с тобой в белой потайной комнатке в недрах старого дома, какое возводили изумительное здание! Ибо мне так и видится: ты и я, нагие, лоснящиеся в зеркальном свете октябрьского дня, молча трудимся над постройкой нашего, отдельного храма

во славу двух божеств, надзирающих сверху. Помню, Морден рассказывал, как его знакомый строитель разбирал где-то в сельской местности недостроенный барочный павильон, и внутри, примыкающие вплотную, оказались стены древней часовни. *Прямо как в скорлупе,* — сказал он мне. — *Поразительно!* И засмеялся на свой лад. Я тогда подумал о нас.

Была наша пора, твержу я себе. Была наша пора, и она прошла. Готовилась ли ты все это время исчезнуть, сорваться с места и убежать? Теперь мне сдается, что даже в моих потрясенных объятиях ты смотрела на меня, как в минуту расставания, все, что ты оставляла, уже меркло в твоем взоре, тут же, прямо при тебе, обращаясь в воспоминание. Была ли ты посвящена, участвовала ли в заговоре? Хотелось бы мне знать правду. Кажется, хотелось бы. Были ли мы совершенно свободны и предоставлены самим себе, своим собственным чудесным желаниям, или кто-то решил это за нас? Но стоит дверце сомнения приоткрыться хоть на одну узенькую щелочку, и мысль отскакивает в ужасе, спеша ее захлопнуть. Здравый смысл с саркастической ухмылкой твердит, что ты, конечно, в этом участвовала, была посвящена во все; но что может знать здравый смысл, кроме

самого себя? Я теперь больше верю темному, сбивчивому, подпольному, нижнему мозгу, который раньше назывался сердцем. Да, сердцу; до сих пор я нечасто пользовался этим словом. Я чувствую себя так, как не чувствовал с тех пор, когда подростком томился в любовной тоске, мне одновременно и горько от утраты, и необыкновенно легко, голова кружится от облегчения — ты была мне не под силу, — и в то же время меня одолевает такое великое горе, что я стою перед ним, вернее, опускаюсь перед ним на колени и благоговейно немею. Даже когда, пресытившись болью, ум мой на миг изгоняет все мысли о тебе, ощущение потери не притупляется, я шарю по воображаемым карманам и растерянно заглядываю в затененные закоулки своего «я», пытаясь сообразить, чего мне не хватает. Так, наверно, бывает, когда человек снедаем смертельной болезнью: мучает постоянная тревога, и бессильное возбуждение, и лихорадочная дрожь в крови. Бывают минуты — не хочу драматизировать, но бывают минуты, особенно в крайних точках суток, вечером и на рассвете, когда мне кажется, что я умру из-за того, что лишился тебя, могу просто-напросто забыться от муки и беспокойства, ступить, не глядя, мимо края земли и безвозврат-

но провалиться в пространство. Но в то же время я никогда еще не жил так явственно, не воспринимал предметы так четко, не был так открыт кружению мировых частиц, словно с меня содрана тончайшая защитная кожа. Дождь беззвучно летит сквозь меня, точно поток нейтрино.

Убийства, кажется, прекратились. Ни одного мертвого тела за последние несколько недель. Меня это пугает. Они начались приблизительно тогда же, когда мы с тобой познакомились, и вот теперь ты исчезла, кончились и они. Глупости, конечно. Но меня преследует вопрос нет ли тут какой-то связи? Не в прямом, понятно, смысле, но может быть, что-то свихнулось от нашего распутства, нарушилось какое-то таинственное равновесие в атмосфере, запустился некий неправильный механизм в системе нейронов этого несчастного, кто бы он ни был, и поманил его из дому рыскать в ночи с ножом и веревкой? Глупости, я же говорю. Я убежден, что видел его, то есть убийцу, сам того не ведая, что где-то в своих блужданиях я сталкивался с ним и проходил мимо, не признав. Что за мысль.

И голова у меня тоже перестала болеть. Головные боли, ночные убийства. Если бы я захотел, я мог бы свести все это в один большой тайный

план. Если бы захотел.

* * *

Тетя Корки оставила мне все свои деньги. (Видишь? Пропавшая возлюбленная, запертая комната и теперь еще завещание; мы на знакомой территории.) Денег оказалось гораздо больше, чем я мог себе представить. Неожиданный финальный жест хитрой старухи. Может быть, она вообще думала, что я охочусь за ее деньгами? Надеюсь, что нет. Что я не оставил ее напоследок на протяжении всех этих долгих недель, пока она умирала, — это единственный, как я теперь понимаю, мой без примеси добрый поступок, я смог бы предъявить его Ангелу для сведения баланса моей жизни в большой черной книге учета. Но я не скрываю, что рад наследству, тем более что Морден, хотя и шумел про неподкупность и честную игру (и подумать только, я ему верил!), изловчился скрыться, не вознаградив меня за мои старания. Мои старания… Забавная это вещь — деньги. Когда их не имеешь, то просто ни о чем другом не можешь думать; а разживешься кругленькой суммой, и сам удивляешься: почему придавал им такое значение. Тетя Корки одним ударом (в обоих смыслах) разрешила все

мои трудности, по крайней мере в той их части, что касается добывания и трат. Сейчас у меня головокружение и легкая дрожь в коленях, как бывает после того, как опустишь тяжелую ношу, которую долго нес.

Ирония судьбы: ведь это тетя Корки все время пилила меня, чтобы я поступил на работу и как-то устроил свою жизнь. И вот теперь я получил ее деньги, и мне уже никогда не надо будет куда-то тащиться, чтобы заработать краюшку хлеба. О чем она думала? Наверно, стояла перед выбором: я или приют для бездомных собак и кошек. «Никудышный ты парень, — весело говорила мне она на своем сознательно ломаном английском языке. — Да-да, никудышный, и отец твой такой же был». Водились за ней приступы откровенности в подобном роде. Они не предназначались для того, чтобы ранить, наоборот, в упоминании моего отца содержалось нечто вроде горестного одобрения, я знаю, она питала симпатию к моему старику. Она просто хотела сказать, что мы с ним оба — растяпы и разбазарили наши жизни, хотя и не без шика, как ей казалось. И она была права. Насчет разбазаривания, я имею в виду. Я пустил на ветер лучшие свои годы. Притом задом наперед: начинал с каких-то достижений,

а потом сполз вниз и превратился в задумчивого размазню. Сейчас, в тихой пристани моих далеко не «ревущих» сороковых, я, по-моему, опять впадаю если не в детство, то во вторую раннюю юность, отсюда все эти любовные страдания, пубертатные охи и вздохи; глядишь, еще прыщи по лицу пойдут.

А ведь если подумать, это тетя Корки своими уговорами, чтобы я нашел работу, да плюс еще, конечно, мое естественное (или сверхъестественное?) любопытство вместе привели меня к Мордену и его запасам живописи. Я и сейчас толком не знаю, как он про меня проведал, я же сменил фамилию (причем законным путем, существует такая процедура), а заодно и все прочее, что поддавалось изменению. Выследил меня, в конечном счете, его подручный Франси, но через какие каналы, Бог весть. Морден ужасно любил таинственность и внезапные наскоки из-за угла, я это в нем сразу разглядел; он обожал заманивать свои… — жертвы, чуть было не написал я, — он обожал вводить человека в заблуждение, притворяясь ничего не ведающим, а потом вдруг обнаруживая, что ему с самого начала было все про вас известно. Сколько он из себя ни строил богатого и даже опасного господина, в нем все-

таки определенно было что-то от шута. Наше знакомство произошло при обстоятельствах, запомнившихся мне как бы при дрожащей фосфорической подсветке, — помню зеленоватый взблеск, тающее черное облако театрального дыма, и вдруг широкий взмах шуршащего плаща и гулкий громкий возглас: «Тарраа!»

Я тогда впервые очутился в этом квартале, вернее, впервые сообразил, куда забрел. Был сентябрь, та задумчивая, сонная пора ранней осени, когда всюду — только небо и золоченые облака, и разреженный воздух с голубоватой примесью бензиновой гари. От реки еще по-летнему несло гнилью. В это время года мир как бы становится просторнее, выше, шире; сегодня даже уличное движение примолкло, подавленное восходом нового времени года. На углу Суон-лейн я решил перейти с солнца на противоположный тротуар и, увернувшись от автобуса, сердито промычавшего у меня над головой, оказался в глубокой, прохладной тени, жидкой, как разведенные чернила, пришлось даже постоять немного, пока привыкнут глаза. Когда я теперь вспоминаю этот угол, мне всегда чудится над ним как бы солнечное затмение; даже твое присутствие на этих узких улицах и в булыжных переулках не

способно развеять мерцающий мрак, в который погружает их моя память.

Дом стоял на… как бы назвать ту улицу? Назову ее Рю-стрит, кажется, это подходит. Дом был с виду нежилой, я даже подумал, что перепутал адрес. Большой, мрачный, ободранный, с трухлявыми оконными переплетами, истертой ступенью крыльца и широкой черной перекошенной дверью. Надавил на звонок — ни звука. Стукнул старым дверным молотком — вроде бы изнутри послышался сдавленный смешок. Жду, приняв мирный, рассеянный вид, с каким всегда ждут у закрытой двери — я, во всяком случае, всегда сначала жду с таким видом. Потом обязательный церемониал: шаг назад; закинув голову, посмотреть на окна верхнего этажа; потупиться и взглянуть себе под ноги; еще раз вглядеться в верхние окна, уже с недовольным выражением лица. Никакого результата. Слева от крыльца там был крохотный палисадничек, заваленный строительным мусором и пустыми коробящимися мешками из-под чего-то, и рядом — пышно цветущий куст будлейи, а справа — небольшая, словно бы ссутулившаяся лавчонка с мухами. Я вошел. Там пахло кошками и перестоявшимся чаем. Нужно ли все это, эти детали местного колорита?

Да. За прилавком над неизменными банками с конфетами из постного сахара виднелась неизменная старушечья голова, позади нее темнел вход в ад. Я еще ни о чем не успел спросить, как у меня за спиной раздались легкие неровные шаги. И я оглянулся. С этого все и началось. От двери ко мне когтистой лапой протянулось голубое облако сигаретного дыма, и медвяный солнечный свет отбросил наискось внутрь зловещую тень острее лезвия гильотины — совсем как на картине Де Кирико. Франси. Франси — Шестерка. Бедно одетый, кособокий, худой, довольно большого роста, одна нога короче другой, грудь впалая, в глазах поблескивает насмешка, из-под плоской шапочки свешиваются рыжеватые жидкие патлы и сигарета с длинным столбиком пепла на конце свисает с бескровной, тонкой, почти что не существующей нижней губы. Я смотрел на него впервые, но с таким чувством, будто знаю его всю жизнь или, уж не знаю, почему, будто он меня знает всю жизнь. «Мистер Морроу», — произнес он тоном охотника, отыскавшего подбитую им дичь, и наставил на меня дуло указательного пальца. Да, Морроу, теперь у меня такая фамилия, я уже, кажется, говорил. Я выбрал ее за призвук какой-то надежды на будущее ну и, разумеется,

в память Герберта Уэллса. Имя подыскать было труднее. Я перебрал много разных кличек — Феардорка, например, что на нашем древнем языке означает «человек тьмы»; или Франклин, свободный человек; или Флетчер, знаменитый островитянин; Фернандо, с намеком на стилет и яд в кубке; и даже Федор, хотя тут обертоны слишком уж очевидны даже для меня. В конце концов, остановил выбор как будто бы на самом подходящем. Но признаюсь, до сих пор не свыкся с новым прозванием — или обозначением? — и всякий раз колеблюсь, когда должен на него отозваться. От Франси, как можно было убедиться, не укрылась эта моя слабость, он не из тех, кто упускает из виду подобные вещи. «Идемте со мной», — позвал он. И я пошел, оставив в памяти за спиной изображение замершей за прилавком старухи-лавочницы, чье древнее высохшее лицо навсегда застыло в терпеливом ожидании банального вопроса, который я ей так и не задал.

На тротуаре, при солнечном свете, Франси покосился на мои ноги и слегка растянул в ухмылке морщинистые губы, словно припомнил что-то забавное. «Мы видели вас сверху. — Он указал на окна верхнего этажа. — Я пошел вниз открывать, но вам не хватило терпения дождаться. Великое

дело — терпение, люди говорят». Ухмылка растянулась и пересекла его лицо от уха до уха.

Невесть откуда появилась большая черная собака, жесткошерстая, косматая, уши торчком, и принялась молча вертеться у нас под ногами.

У дверей Франси остановился, отшвырнул недокуренную сигарету, достал внушительных размеров ключ и с лязгом повернул в замочной скважине. Черная обвисшая дверь отворилась, Франси картинным жестом пригласил меня войти. Я вошел в полутемный холл с высокими белыми стенами и с неровным каменным полом. Дверь за нами захлопнулась, и со всех сторон посыпались звонкие капли эха. Пахло краской, и старой штукатуркой, и крошащимся камнем. Изящно изгибающаяся узкая лестница с перилами — мне представляется твоя рука от локтя до запястья — легко восходила ввысь навстречу мягкому белому сиянию, льющемуся сквозь высокие окна верхнего этажа. Мы стали гулкими шагами подниматься по ступеням. Пес, цокая когтями по голым половицам, без приглашения шел за нами. «Эти ступени — смерть моя», — сказал Франси, хотя запыхался не он, а я. Вдруг он обернулся и, замахнувшись, весело заорал на пса: «Принц, а ну убирайся отсюда, чертяка!» Но Принц только

посмотрел на него с обожанием и, улыбаясь, обнажил розово-блестящие десны.

Мы поднялись и остановились под облезлым оштукатуренным куполом. Франси по-прежнему поглядывал на меня со сдержанной насмешкой. Поэтому я расправил плечи и притворился, что заинтересовался архитектурой дома. По основанию купола шел круговой балкон, на него выходили белые закрытые двери. Я почувствовал себя последней женой Синей Бороды. Франси пошел вперед, я — за ним. Ну и походка у него была — разболтанная, враскачку, не хромая, а как бы с подскоком, словно он принадлежит к особому животному виду, только недавно обучившемуся прямохождению. Хромота, похоже, его не затрудняла, наоборот, придавала подвижности, просто такой пружинистый шаг. Франси открыл одну из белых дверей и опять посторонился, приглашая меня войти. «Вот мы и прибыли, приятель», — бойко произнес он и нахально причмокнул углом рта. *«Послушай-ка, милейший»,* — осадил его я. То есть, разумеется, я ничего не сказал, а молча переступил порог. Пес шел за мной по пятам и часто дышал, как перегруженный паровозик. Не люблю собак.

Бывают в жизни мгновения…

Нет, нет. Обойдемся без рассуждений о судьбоносных мгновениях, о роковом выборе на перепутье дорог и прочей подобной дребедени. Нет никаких особых мгновений, все идет гладко, постепенно; сколько раз я должен повторять себе эту простую истину? В тот день я так же не мог не ступить через порог, как не мог заставить свое сердце не биться или остановить течение лимфы по лимфатическим сосудам. Я не имею в виду насилия, не говорю, что насмешливые взгляды Франси парализовали мою волю. Если бы так! Насколько все было бы понятнее. Но нет. Я просто говорю, что, не остановившись, не свернув, продолжал свой путь и тем исключил все другие возможности. Происходящее — происходит. Если и существуют иные миры, где проигрываются иные варианты наших действий, нам не дано о них знать. Даже если бы я и ощутил на лице тонкую паутину предостережения, меня все равно неодолимо повлекла бы через порог цепь микроскопических событий, которая берет начало в момент моего рождения или еще глубже, которая протащит меня без лишних церемоний через нынешнее противостояние и дальше, через другие встречи, более — или менее — роковые, покуда я не дойду до самой последней точки и

навсегда сгину в разбитом зеркале моего «я». Это я называю своей жизнью, жизнью, которую я, как мне кажется, веду, а на самом деле это она ведет меня, точно быка на бойню.

За дверью оказался коридор, широкий, низкий и заставленный какими-то вещами. Стены — опять же белые или изжелта-беловатые, того особого, линялого цвета, а вернее — бесцветности, которая окрашивает все в этом доме. Такого же оттенка и из того же материала мне показались, по первому впечатлению, и повсюду нагроможденные предметы, невесть что за вещи, какие-то останки десятилетий — или веков, — похожие то ли на грязноватые облака, то ли на огромные обрывки сухой штукатурки. Я пробирался между ними, и мне чудилось, будто это не просто хлам, скопившийся за долгие годы, а скорее выветрившиеся древние выделения самого дома, губчатая окаменелая слизь, выступившая из стен в процессе распада. И даже потом, позже, когда я рылся в этих отбросах, они представлялись мне хрупкими, крошащимися под пальцами, и по временам я словно бы чувствовал, что от слишком долгого соприкосновения сам начинаю распадаться и должен буду в конце концов рассыпаться в прах — только и сохранится от меня, что куча каких-то

бесформенных, непонятных черепков и обломков. Франси беззлобно выругался позади меня и отпасовал ногой прочь с дороги пустую коробку. «Ну и дом, — пробурчал он с вздохом. — Черт знает что такое!»

Коридор впереди искривился дугой — дом весь состоял из кривизн, ступенек и внезапных уклонов — вследствие просадки грунта, как объяснял Морден, придавая строительному термину адский призвук, — и вдруг я очутился перед еще одной дверью, на этот раз чуть-чуть приоткрытой. Приоткрытые двери всегда смущают меня, они как будто бы знают что-то, на что-то намекают, как прищуренный глаз или готовый расхохотаться рот. Из щели лился неправдоподобно яркий белый свет, словно в помещении за дверью полыхает и не гаснет вспышка магния. Но на самом деле это был дневной свет, только и всего, льющийся из двух высоких и, как показалось сначала, слегка наклонных, нависающих окон. Комната оказалась просторная, с высоким потолком, похожая на ателье. С потолка на веревках свисало непонятное сооружение из палок и блоков, наподобие рамы для сушки белья, а от окна на пол наискось падало свободными складками большое грязно-белое полотнище, и

во всем этом было что-то необъяснимо знакомое — вместе высокий потолок, густой белый свет и ниспадающее полотно могли бы служить фоном для какого-нибудь революционного группового портрета работы Жака Луи Давида. Морден проследил мой взгляд и, вскинув большую голову, насмешливо сказал: «Клятва в зале для игры в мяч, а?» Так он с самого начала продемонстрировал мне умение читать чужие мысли. Я прямо отшатнулся, словно у меня под ногой вдруг подскочила половица и шмякнула меня по носу. А он кивнул с довольным видом: «Да-да, этот дом как раз такого же возраста, год в год, поразительно, не правда ли?»

Сам-то он, похоже, был более позднего разлива — не столько давидов Робеспьер, сколько роденовский Бальзак. Он стоял посередине пустой комнаты, облаченный в длинное пальто, скрестив руки высоко на массивной груди, и испытующе, надменно посматривал на меня, наморщив крупный, приплюснутый нос боксера. Глаза его… Ах да, глаза. Глаза пантеры. Я понял сразу две вещи: что он моложе меня на добрый десяток лет и что я его боюсь. Сказать, которое из этих двух открытий меня больше смутило, я бы затруднился. За спиной у меня, тихо ступая,

перемещался шестерка Франси, и на какой-то сумасшедший миг мне подумалось, что вот сейчас он займет позицию, как в кино, сдернет мне на спину пиджак и стянет намертво локти, чтобы босс в драповом пальто и сдвинутой на затылок шляпе мог спокойно подойти и съездить раза злосчастному герою под дых. Прошла минута напряженного молчания. Наконец Морден, по-видимому, принял решение, не отводя от меня блестящих черных глаз, кивнул, не то усмехнувшись, не то оскалившись, и пробормотал: «Н-да, конечно, конечно». Затем он медленными шагами отошел к окну и принялся в молчании созерцать дом напротив. Но вот насчет пальто. Не мог он тогда носить пальто, было еще слишком тепло. Но если я неверно запомнил эту деталь, может быть, я и еще что-нибудь перепутал? Ну, во всяком случае, таким он мне запомнился в тот день — стоит в раздумье в луче света под наклоненным окном, руки все так же скрещены, одна нога выставлена из-под длинных пол пальто, — крупный, широкоплечий мужчина с курортным загаром на приплюснутом лице и с тщательно ухоженной длинной гривой тусклых каштановых, с рыжинкой, волос.

— Итак, стало быть, вот и вы, — сказал он, слов-

но отметая все происходившее прежде и начиная заново. Я тяжело дышал, как будто догонял его, карабкаясь по крутому склону.

— Да, вот и я, — сказал я, не представляя себе, что бы еще к этому прибавить.

Морден вздернул брови, посмотрел мимо меня на Франси и произнес:

— Смотри-ка, говорящий!

И опять принялся меня разглядывать. Франси хихикнул сзади. И снова наступило молчание. Пес Принц сидел в дверях, высунув язык и навострив лисьи уши, и внимательно за нами наблюдал.

Я уверен, что все было совсем не так.

— Мне кажется, что вы можете мне помочь, — бодрым голосом проговорил Морден. — Говорят, вы человек, заслуживающий доверия.

И найдя это забавным, ухмыльнулся на сторону. Голос у него был сильный, зычный, речь, утяжеленная отдельными нажимами, то убегала вперед, то спотыкалась, как будто он давал понять, что у него нет ни времени, ни терпения высказывать все и поэтому приходится перегружать отдельные слова; искусственная речь. Он сообщил, что приобрел этот дом недавно (мне понравилось это слово, «приобрел»), и добавил: «Буду приводить в порядок, — колыхнув странно

взбухшей, бескровной рукой в кольцах. — Охранять и перестраивать — две стороны одного дела. Планы у нас большие, да, большие». Франси хмыкнул. До чего же им было весело обоим. Морден довольно кивнул своим мыслям о будущем и глубоко втянул воздух расплюснутыми ноздрями, словно уже чуял крепкий запах древесных опилок, кирпичей и цементного раствора. Потом вдруг встрепенулся, отошел от окна и сказал, бодрый и жизнерадостный: «За это дело надо выпить, а, Франси?»

Франси замешкался, на минуту в воздухе запахло бунтом. Я тоже к нему обернулся, и мы с Морденом оба на него посмотрели. В конце концов Франси пожал плечами, презрительно причмокнул, скривив рот, и поплелся прочь, и пес за ним. Морден рассмеялся. «Он у нас ведь тоже немного художник, старина Франси», — доверительно сообщил он.

Внутри меня что-то заскрипело и отпустило, расслабилось на один зубчик. Морден снова стал смотреть в окно. Воцарилось безмолвие; мы с ним были как два человека в лифте, бесшумно поднимающем нас навстречу неизвестно чему. Я слышал удары собственного сердца, мне казалось, что очень редкие. Странные это мгновения,

когда все вдруг развязывается, освобождается и может произойти что угодно. На жизнь совсем не похоже, ты в каком-то ином состоянии, все сознаешь, но как бы во сне, зависаешь в невесомом волнении. Может быть, воля при этом все-таки остается (безвольная воля — возможно такое?), и может быть, как раз в такие минуты ты, сам того не ведая, выносишь суждения, что-то решаешь, за что-то берешься. Если это действительно так, то все, чему я верил, неправда. («Вера» в данном контексте, разумеется, имеет отрицательное значение.) Хорошая мысль. Я, конечно, не думаю, что она справедлива, я просто играю ею, развлекаюсь, пока длится этот краткий перерыв, прежде чем все снова начнет происходить.

Возвратился Франси с бутылкой шампанского и тремя серыми от пыли бокалами. Морден взял у него из рук бутылку, содрал фольгу, снял проволоку и решительно свернул пробку; мне представился охотник, избавляющий от мук подстреленную жирную жертву. Раздался неожиданно слабый хлопок, из горлышка вылез вялый язык пены. Вино было розовое и теплое. Франси он не налил ничего. А со мной чокнулся пыльным бокалом и провозгласил: «За искусство!» Я выпил, а Морден только притворно поднес бокал

к губам.

Потом мы ходили по всему дому — впереди Морден с развевающимися полами пальто и с бутылкой в руке, сзади Франси своей легкой кособокой походкой и пес вприпрыжку за ним по пятам. В этом форсированном марше было что-то бешеное и абсурдное. Мне показалось, что он вот-вот должен кончиться бедой и позором, вроде того, как бывает во сне, когда вдруг оказываешься без брюк в хохочущей, тычущей пальцами толпе. Мы торжественно шествовали из комнаты в комнату под облупленными потолками, по выломанным половицам, мимо узких окон, из которых падали на пол замысловатые геометрические узоры солнечного света. И я все время чувствовал немое смущение старинного дома, оттого что его застали в таком неприбранном виде.

«…некто по фамилии Марбот, — рассказывал Морден, — Джозайя Марбот, эсквайр, проживавший в этом квартале. Путешественник, строитель, коллекционер, наперсник Неаполитанского короля, друг Марии Антуанетты, гостивший у нее в Версале (говорят, у нее был клитор, как большой палец, не слыхали?). Сохранились письма к нему от мадам де Икс, любовницы короля Как-бишь-

его. Еще в молодые годы составил себе состояние на торговле бельем: лен из Фландрии, пенька из Гента, ткачи из Байе. Разъезжал туда-сюда по Нидерландам, прикупал где что подворачивалось, знал толк в искусстве. Не женился, все имущество завещал какому-то обществу, вроде Союза борьбы против рабства. Он был квакером, как я понимаю. Типичный деятель XVIII века. — Морден внезапно остановился, и я чуть было не налетел на него. Он обернулся ко мне. От него пахло кремом для бритья и загнивающими деснами. Он все еще держал в руке бокал с шампанским. А мне налил снова. — Под старость, естественно, стал чудачить. — Он наклонил бутылку, иронически вздернув брови. — Вот в этом самом доме заперся и с одним слугой безвылазно просидел тут до самой смерти. Наконец, умер. Все это описано в литературе, я читал. Поразительно».

Между тем мое внимание привлекло то, что находилось у него за спиной. Здесь оказался тупик — коридор заканчивался высокой и узкой глухой стеной без каких-либо признаков двери. Мне это показалось странным. Стена была из оштукатуренной дранки, и внизу большой кусок выломался, так что видно было насквозь: яркий дневной свет, голый пол и что-то черное, как

будто бы лоскут черной ткани, мне подумалось сначала, что край портьеры или ширмы, но вдруг он шевельнулся, мелькнули нога в чулке и тонкий острый каблук женской туфельки. Пес тихо заскулил. «Смотрите-ка», — сказал Морден и нажал на что-то невидимое. Раздался щелчок, узкая стена превратилась в дверь и, скрипя петлями, повернулась. Вот так приключение! Я почувствовал себя отважным юным героем Р. Л. Стивенсона. За дверью оказалась треугольная комнатка с грязным низким окошком, выходящим на кирпичную стену, а поверх стены виднелись городские купола и шпили, позолоченные мягким сентябрьским солнцем. Мебель составляли кресло с откидывающейся спинкой, когда-то здесь кем-то забытое, и широкий продавленный шезлонг, своим видом намекающий на некие слоновьи забавы. У стены, прикрытые куском ветхой ткани, были составлены деревянные рамы — по-видимому, картины, на взгляд, штук пять или шесть (на самом-то деле их было восемь, к чему эти обиняки?). Я огляделся: ничего и никого, не считая легкого запаха духов, уже почти выветрившегося, так что, быть может, воображаемого. Морден развязной походкой антрепренера прошел вперед, сдернул ветхий по-

кров и взмахом бутылки, как булавы, предложил моему вниманию картины. «Прошу взглянуть». А Франси, прислонившись к дверному косяку и держа руки в карманах, умело подмигнул мне одним кожистым черепашьим веком.

1. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДАФНЫ, ок. 1680
Иоганн Ливельб (1633–1697)

Холст, масло, 26 1/2 x 67 дюймов (67,3 x 170,2 см)

Создание зрелых лет автора, картина «Преследование Дафны», представляет собой мастерски написанную, тонкую, но в то же время витальную, может быть, даже грубоватую работу с мистическим, волнующим подтекстом. Сумрачное освещение, высвечивающее и подчеркивающее центральные фигуры и заливающее дали заднего плана неземным тусклым блеском, придает всему полотну характер призрачный, почти сюрреалистический, что и является, по мнению некоторых критиков, главной примечательной чертой этого произведения. Формат полотна, удлиненный прямоугольник, предполагает, по-видимому, что оно предназначалось для определенного места на стене, возможно, над кроватью или диваном, во всяком случае, общая атмосфера необузданного, хотя и утонченного сладострастия, пронизыва-

ющего всю сцену, подтверждает предположение (см. Попов, Поупхэм, Поуп-Хеннесси), что картина написана для будуара. Как всегда, Ливельб приспосабливает свой замысел к подручным возможностям, в данном случае он использует имевшееся в его распоряжении длинное низкое полотно для передачи быстрого движения в соответствии с сюжетом, но при этом сохраняя черты псевдоклассической гармонии, напряженного покоя среди лихорадочного волнения. Бег, направленный на полотне слева направо, дает смотрящему ощущение, что это лишь часть, одна сценка, вырванная из картины более общего движения, что данная работа лишена законченности и является отрезанным концом длинного фриза. Художник усиливает иллюзию быстроты тем, что ветер у него дует не в лицо преследователю и бегущей, как можно было бы ожидать, а сзади, будто сам Эол присоединился к Аполлону в его гонке. Но несмотря на попутный ветер, волосы Дафны, перевязанные розовой лентой, развеваются сзади у нее за плечами длинными волнистыми прядями — извивы их повторяет зигзагообразное течение реки Пенея, протекающей через пейзаж на заднем плане, точно блестящая, серебристая змейка. Купидон с луком на левом краю картины

кажется не столько божеством, сколько злорадствующим сатиром, в жуткой ухмылке на его лице читается не только мстительная радость, но и предвосхищение похотливого удовольствия: он заранее радуется, что сейчас станет свидетелем насилия над девой. Аполлон же, у которого из-под правой лопатки торчит вонзившаяся по золотое оперение стрела любви, выглядит довольно жалко: это уже не стройный эфеб классических изображений, а пожилой, возможно, в том же возрасте, что и автор в эти годы, раздобревший, мягкотелый мужчина, с трудом отдувающийся и явно не приспособленный для любовных гонок (предположения, что тут мы имеем дело с автопортретом, высказывались, но в их пользу не приводилось никаких доказательств). Дафна изображена в момент, когда она подвергается превращению, но то же самое происходит и с богом. В его глазах мы читаем — как точно это уловлено художником! — безнадежность и горькую догадку, что сейчас его постигнет утрата, и не только утрата восхитительной красавицы, предмета его желаний, но заодно и важного свойства собственной личности, самого себя, каким он до сих пор всегда себя считал и каким ему уже больше не быть. Его жилистая рука, протянутая,

чтобы ухватить жертву, схватит только пустоту. Дафна уже прорастает листьями и ветвями. Если присмотреться получше, видно, что сквозь нежную кожу тут и там проглядывает коричневая кора, тонкие пальцы становятся сучками, зеленые глаза зацветают. Как склоняется над нею, обмирая, стройный лавр, стремясь каждым бахромчатым листом (wie eines Windes La'cheln, точно улыбка ветерка, как трогательно пишет Рильке) заключить ее в преображающие объятия. Можно было бы, конечно, обойтись без непристойного сопоставления раздвоенных ветвей дерева и бегущих ног девы. Здесь, как и в других работах Ливельба, возвышенный классический мотив приносится в жертву броскости и вульгарному эффекту, и в конечном итоге оказывается, что его картине недостает того благородства замысла и простоты исполнения, какие придал бы полотну более великий художник. Как выразился критик Эрих Ауэрбах в работе, посвященной совсем другой теме, мы сталкиваемся здесь «с выспренным стилем, в котором главное место занимает грубая чувственность; это мрачный и высокопарный реализм, совершенно чуждый классической древности».

~~~

Тетя Корки приходилась мне на самом деле не родной теткой, а дальней родственницей по материнской линии, такой дальней, что к нашему времени эта линия, я думаю, истончилась до доли микрона. Тетка утверждала, что она голландка или фламандка, смотря как когда ей больше нравилось, и, кажется, ее родичи действительно происходили из той же нахохленной нидерландской деревушки, откуда несколько столетий назад эмигрировали предки моей матери. (Я, конечно, все это представляю себе по пейзажам Хоббемы: сбившиеся в кучу домики под бурыми кровлями, по дороге бредет человек в шляпе, и тянутся два ряда пирамидальных тополей, сходя на нет и теряясь в сонной синей дали.) Но за свою жизнь она где только ни жила, а еще больше насочиняла, будто жила, так что она вроде как обтерлась с годами, словно старинная статуя, чьи черты сгладило время, и от иностранки в ней осталась лишь легкая, еле заметная патина. Хотя кое-какие прирожденные особенности все же узнаваемо проступали: широкий и твердый
~~~

голландский лоб, выпуклые скулы (ср. дюреровский бескомпромиссный рисованый портрет матери, 1514) и в голосе чуть слышная гортанная запинка на некоторых трудных согласных. Когда я был маленький, тетя Корки представлялась мне совершенной иностранкой, рожденной готическими городами, и континентальной погодой, и смесью немыслимых наречий Европы. Тетя Корки была, насколько я знаю, моложе моих родителей, но мне казалась древней старухой, вероятно, потому, что была безобразна и похожа на ведьму из сказок. Низкого роста, коренастая, с широкой грудью борца и с крупными, квадратными кистями рук в узловатых венах, она ходила на тонких, выгнутых ножках, в вечно перекошенной юбке и напоминала предмет мебели, сервант какой-нибудь или обеденный стол в сложенном виде. Свою уродливую внешность она несла с гордым высокомерием. Говорили, что она на войне потеряла мужа, так, во всяком случае, это формулировалось, и я представлял его себе не убитым, а где-то потерявшимся, воображая, как он, исхудавший, в лохмотьях, с отчаянием во взоре, бродит в пушечном дыму по великим лесам и разбомбленным городам Европы, разыскивая мою тетю Корки. (Ее настоящее имя, между

прочим, состояло из непроизносимого сочетания несочетаемых согласных, перемежающихся гласными I и Y.) Во время войны она перенесла еще и другие несчастья, о которых у нас говорили только намеками, понизив голос, и мальчишкой я часто думал про это, со странным упоением рисуя себе, как моя тетя, связанная по рукам и ногам, лежит на дне сырого погреба в бараке, где-то в переулке у канала, а к ней приближается рота тевтонских бандитов со свастикой на рукавах и… но дальше без подпитки опытом или искусством моя фантазия пока еще оказывалась бессильна.

Я и сегодня толком не знаю, которая из многочисленных версий теткиной жизни была верной или все они — выдуманные. По документам, я выяснил впоследствии, все было вообще иначе, но документы, кому и знать, как не мне, легко подделать. Она лгала с такой легкостью и искренней убежденностью, что это и не ложь даже, а продолжающееся измышление самой себя. В хорошей форме она могла, как профессиональная импровизаторша, насочинять такого, что слушатели столбенели от любопытства и неловкости и так и сидели, разинув рот. Помню, совсем еще маленьким я слушал однажды, как тетя подробно описывала моей маме похороны

молодой жены германского князя, которые она якобы лично наблюдала и чуть ли не вообще принимала в них участие, — клянусь, я прямо видел своими глазами гроб, установленный на королевской барже и плывущий вниз по Рейну, и при гробе только один seine köngliche Hoheit[1] в кремово-голубом вицмундире и серебряном шлеме с плюмажем и тысячные толпы плачущих подданных, которые молча глядят с берегов. Но тетя Корки этим, как обычно, не ограничилась, а довела повествование до сказочных высот — у нее получалось, будто когда баржа показалась из-под моста, то гроб, до того ничем не покрытый, тут явился весь чудесным образом осыпанный сотнями белых роз. «Целая гора, — рассказывала тетя Корки, разводя большие ладони и описывая ими воображаемые контуры цветочной горы. — Ну просто видимо-невидимо!» И на глазах у нее блестели слезы умиления.

Откуда взялись у тети Корки деньги? Загадка. Насколько мне известно, она никогда нигде не работала и жила, кормясь от щедрот развитой сети родственников здесь и за границей. Была у нее долговременная связь с одним хмурым англи-

---

[1] Примечания: 1

его королевское высочество (нем.). — Здесь и далее примеч. пер.

чанином, определенно жуликоватым субъектом со склонностью к кричащим галстукам и двуцветным штиблетам; но его трудно представить себе источником богатства, скорее наоборот. Кажется, они заключили законный брак — тему морального облика тети Корки в семье обходили молчанием, только поджимали губы, — и тетя переехала с мужем в Англию, где они какое-то время без конца перебирались с места на место, главным образом, в ближних окрестностях Лондона, останавливались в приличных гостиницах и играли в вист. Затем что-то разладилось, и Бэзил — вот как его звали, я только сейчас вспомнил — был разжалован, имя его предано забвению, а тетя возвратилась с новым грузом горестей и потом, если заходила речь об Англии или о чем-нибудь английском, обязательно морщилась и склоняла голову на ладонь с видом трагическим и отрешенным, точно она Дидона и при ней заговорили про Троянскую войну. Я к тете Корки относился скорее хорошо. Еще с тех давних дней я запомнил ее забавную, переваливающуюся поступь и попугайский смех. Не забыл даже, как от нее пахло — крепкой смесью дешевых духов, нафталина и еще чего-то пыльного, чего — не знаю, но у меня этот запах ассоциировался с кре-

тоновыми портьерами. Да еще табачного дыма, конечно: она по-европейски питала пристрастие к крепкому табаку и, где ни появлялась, за ней тянулся сизый дымный шлейф, так что, вспоминая ее такой, какой она тогда была, я видел перед собой на диво материальный дух, исходящий на землю из табачного облака. Она пользовалась жирным абрикосовым кремом и румянами, мазала широкий рот, всегда немного криво, лиловой помадой, а волосы красила в огненно-рыжий цвет и по субботам с утра делала укладку.

Как приятно перелистывать в тишине выцветшие листы альбома воспоминаний.

Сам не знаю, почему я позволил себе поехать навестить ее по прошествии стольких лет. Я не люблю входить в комнаты, где лежат больные, — а кто это любит? — и в моей жизни, как и во мне самом, столько всего произошло с тех незапамятных времен, что я даже сомневался: владею ли я еще языком, который понятен этому пережитку былого? Я вообще считал, что ее уже нет в живых; другие-то все уже умерли: моя мать с отцом и мои… и остальные, все лежат в земле; как же могло получиться, что тетя Корки, которая выглядела старухой, когда они были молодыми, всех пережила? Возможно, мною двигало простое

любопытство…

Удивительное дело. Я уже замечал, как выдаю себя с головой, если за высокопарными речами стараюсь скрыть правду… *и в моей жизни, как и во мне самом, столько всего произошло с тех незапамятных времен…* Ах ты, Господи. Когда я пользуюсь подобными ходульными оборотами, так и знай: я вру. Но с другой стороны, а когда я не пользуюсь подобными оборотами? (И я еще говорю про тетю Корки, что она лгунья!)

Она жила, если можно назвать это жизнью, в загородном приюте для престарелых под названием «Кипарисы» — розово-белом сооружении вроде большой беседки с башенкой на крыше. По бокам его полукругом обступали те самые кипарисы, иссиня-черные, остроконечные, и все это располагалось на возвышенном берегу, так что из окон открывался широкий до головокружения вид на море вплоть до противоположного берега залива. Вход был через высокую тесовую, пахнущую дегтем калитку с автоматическим замком и микрофоном, он что-то пискнул мне на непонятном языке, но калитка все равно открылась. Асфальтированная подъездная аллея, кусты, уходящая вверх травянистая лужайка, и вдруг, словно стрела, пущенная из прошлого,

острый, колючий запах, который я знал, но не мог сначала вспомнить, какое-то дерево, может быть, эвкалипт, да, скажем, эвкалипт, красивое слово, похожее на всхлип. Я едва не споткнулся, ушибленный сладкой памятью о забытом горе. Но тут я увидел сам дом, и мне стало смешно, такой он оказался легкий, тщедушный, несерьезный, такой нелепый, с арочками и чугунными решеточками и с застекленной верандой, отсвечивающей бликами вечернего солнца. Словно специально придуманный для того, чтобы тетя Корки закончила здесь свои дни. А далеко внизу лежало море, синее, недвижное, воображаемое, как человеческое сознание.

Дверь на веранду стояла открытая, и я вошел. Между пальмами в кадках какие-то старики в шезлонгах грели на солнце высохшие старые тела. На меня обратилось несколько пар гноящихся желтых глаз. Сквозь стеклянную дверь была видна сумрачная внутренность дома. Я тихонько постучал и замер в ожидании. «Тут надо колошматить изо всех сил», — раздался у меня за спиной старческий голос, сменившийся хлюпающим кашлем, как будто вытаскивают из грязи ногу в калоше. В воздухе стоял слабый запах мочи и вареной пищи. Я постучался еще

раз, сильнее, так что задребезжали стекла, и сразу же, будто только того и дожидалась, показалась рыжая толстуха, распахнула дверь, весело произнесла: «Эй, эй! Потише, разбудите мертвых!» И осклабилась. Она была в форме медсестры, в белой шапочке и в белых мягких туфлях, у нее даже висели вниз головой на груди приколотые к кармашку часики. (Зачем они их так вешают?) Но все это выглядело как-то неубедительно. В ней было что-то от деревенской девки, мне припомнилась девчонка, которая катала меня маленького на закорках и как-то раз предложила, что покажет свою, как она выразилась, штучку, если я первый покажу ей свою. (Боюсь, что это не состоялось.) Я спросил тетю Корки. Толстуха не перестала скалиться, но смерила меня взглядом, с сомнением вздернув бровь, как будто тоже, со своей стороны, подозревала меня в самозванстве. Согласно голубой целлофановой карточке у нее на лацкане, ее звали Шарон. «Вы что, и есть племянник?» — уточнила она. Я твердо ответил: «Да». И в эту минуту у меня под боком вдруг неслышно очутился пухленький, тихий веснушчатый старичок в дешевом темно-синем костюме в полоску. Он кивнул мне искательно и панибратски, словно мы с ним старые добрые знакомые и нас связывают

общие грустные воспоминания. Он мне не понравился, и не понравилось, как он ко мне неслышно подобрался. «Все в порядке, Шарон», — сказал старичок медсестре тихим, слегка пасторским тоном, и она в ответ пожала плечами, повернулась и пошла прочь, насвистывая. Резиновые подошвы ее туфель скрипели на черно-белом кафельном полу веранды. «Хаддон, — доверительно представился полосатый и, мгновение переждав, уточнил: — Мистер Хаддон». Он взял меня под руку и повел к лестнице, круто восходящей на верхнюю площадку с широким окном из угрожающе разноцветных стекол. Что-то мешало мне идти, словно я переставляю ноги в густой воде, и при этом я еще чувствовал вокруг себя всеобщее еле сдерживаемое веселье на мой счет. Я только шагнул на первую ступеньку, как краем глаза заметил какое-то движение и успел отшатнуться: ко мне мелкими шажками подбежала женщина с лицом старенькой девочки, ухватила меня за рукав и по-девчоночьи прерывающимся голоском спросила: «Вы — человек-пеликан?» Оглядываюсь на Хаддона за подмогой, но он стоит с отсутствующим видом, поджал губы, сложил ладони на ширинке и терпеливо ждет, как будто по пути наверх каждый обязан пройти это

скучное испытание. «Человек-пеликан? — переспрашиваю жалобно. — Нет, нет, я не пеликан». Старушка смотрит на меня пристально. Она одета в жемчужно-серое шелковое платье, на бедрах повязан прозрачный шелковый шарф, а лицо удивительное — мягкое, без единой морщины, глаза блестят. «Ах, — говорит она, — тогда вы ничем не можете мне помочь». Улыбнулась нежно и страстно и понурясь ушла. Подымаясь со мной по лестнице, Хаддон тихонько пояснил: «Мисс Лич», — как будто этим довольно сказано. На площадке мы остановились перед какой-то дверью, он стукнул один раз, наклонил голову, прислушался, а потом кивнул мне, одними губами произнес нечто ободряющее и осторожно, скрипя половицами, ушел по лестнице обратно вниз. Я стою в разноцветных бликах, падающих из окна у меня за спиной, жду. Ничего не происходит. Я остро ощущаю себя как бы со стороны, будто из лысого ковра у меня под ногами вырос другой, безмолвный, дышащий я, поднялся надо мною и наблюдает. Я прижался ртом к двери, шепотом зову тетю Корки, и сразу же снова вокруг меня — сдавленный смех. Из-за двери никакого ответа. Тогда я в порыве досады толкаю дверь. Меня ослепило ярким светом.

К этому моменту я уже серьезно раскаивался, что вздумал проникнуть в этот дом теней, и был бы рад, если бы сейчас появился мистер Хаддон или какой-нибудь другой местный страж, решительно закрыл бы у меня перед носом эту дверь и препроводил бы меня вниз по лестнице и вон за порог со словами: *Нет, нет, это ошибка, вы не туда попали, и к тому же ваша тетя умерла.* Меня тянуло назад, туда, где синее небо и синее море, где качаются часовые-кипарисы. Характерно для меня: я вечно хочу попасть в один дом, а оказываюсь, сам того не желая, в другом. Комната, как мне тогда представилось, и это впечатление сохранилось, несмотря на опровержение последующего опыта, была огромной — широкое белое гудящее пространство, а в центре на барже — большой высокой кровати — лежит спеленатая крохотная тетя Корки и плывет по течению своей никчемности. Она дремала, но при моем появлении вдруг подняла веки, будто кто-то дернул за ниточку. И сразу же проделала тот фокус, который так ловко получается у людей, когда их давно не видел: отодвинула в сторону свой более молодой и сейчас уже не убедительный двойник и быстро заняла его место. Долгое мгновение она лежала недвижно и молча и смотрела на

меня, и было ясно, что она не понимает, кто я и в действительности ли существую или только привиделся. Внешне она очень мало изменилась с тех пор, как я видел ее последний раз лет, наверно, тридцать назад. Сморщилась, усохла, вместо прежних крашеных волос обзавелась еще более пламенным париком, но в остальном это была несомненно именно тетя Корки и никто другой. Не знаю почему, но это меня удивило, я даже на секунду остановился в нерешительности. Не поднимая головы, она вдруг улыбнулась и сказала: «Я бы тебя и не узнала». Описывал ли я тебе улыбку тети Корки? Она широко открыла глаза и разлепила губы, обнажив вставные челюсти, которые пришлись бы впору небольшой лошади, и голова ее при этом мелко дрожала, словно от отчаянного, хотя и радостного физического усилия. Веснушчатая лапка бочком, по-крабьи побежала по одеялу, ища мою руку. Я сжал узловатые пальцы, придержал за локоть — а какая у нее хватка: будто тебя зацепило старое сухое дерево, — и тетя Корки, кряхтя, приподнялась и села на кровати. Я подложил подушки и всякое такое, а потом придвинул стул и смущенно сел, упершись ладонями в колени — а как полагается по правилам сидеть у постели больного? Тетка была в несве-

жей ночной рубахе без рукавов, какие надевают на хирургических больных перед операцией; в сгибе локтя на сухой коже остался синяк, где у нее брали или вливали ей кровь. Сидела она криво, улыбаясь приоткрытым в одышке ртом и мелко тряся головой, словно покачивала ею от удивления. В глазах на нижних веках повисли две большие слезы. Как всегда перед лицом чужого горя, я старался не дышать. Я спросил, как она поживает, и она без тени иронии ответила: «Замечательно! Разве ты не видишь?»

Дальше в моих воспоминаниях — пропуски, без сомнения, подсознательно нарочитые. Наверно, мы говорили с ней о прошлом, о родных, о моей так называемой жизни — видит Бог, тетя Корки была не из тех, кто оставит зиять хоть одну недомолвку в разговоре, — но мне больше запомнились не слова, а вещи: та белая, пожелтевшая от многократной носки рубаха (сколько людей в ней умерло? — мелькнула у меня мысль), переполненная пепельница из фольги, стоящая на тумбочке, яркая помада, которой она нетвердой рукой поторопилась намазать губы. Сначала она была вялая, со сна, но это с нее быстро сошло, и она оживилась. Досадуя, что ее застали неприбранной, она все время украдкой что-то

подправляла: то губы подмажет, как я уже сказал, то проведет по лицу пуховкой из пудреницы, то быстро потрогает языком, на месте ли зубные протезы, — впопыхах собирала себя по частям, точно примадонна перед выходом на сцену в главной роли воображаемой самой себя. По мере того как восстанавливался ее физический облик, возвращались и прежние ухватки; и вот она уже сидит на кровати, выпрямив спину, курит и жалуется, высокомерная, кокетливая и обиженная в одно и то же время. Тетя Корки состояла с внешним миром в особо близких и драматических отношениях: ни одно историческое событие и ни одно самое мелкое происшествие не было таким значительным или, наоборот, заурядным, чтобы она не считала его направленным лично против нее. Ее послушать, так недавнюю мировую войну устроили со специальной целью испортить ей жизнь, а если на улице шел дождь, она со страдальческим видом жертвы смотрела в окно и качала головой, как бы говоря: *Нет, вы только взгляните, что они со мной делают!* Правда, в следующее мгновение она уже пожимала плечами, задорно вздергивала подбородок (растущие на нем волоски несли каждый по крупинке розовой пудры) и улыбалась своей лошадиной

улыбкой, приводившей мне на память говорящего мула из детской сказки, и снова становилась прежней жизнерадостной тетей Корки. Что бы ни было, она всегда оставалась на плаву, веселая, самодовольная, беспечная, этакий отважный пловец по морю бед.

Правда, на этот раз я ожидал совсем другого. Меня ведь вызвали, как я понимал, к умирающей, и я приготовился увидеть на кровати мирный, тихо дышащий полутруп, со всеми полагающимися атрибутами смертного одра — в непременной крахмальной рубашке, и тут же врач в дорогом костюме, а на заднем плане бессловесная медсестра, поблескивающий металлический лоток. Но вместо всего этого передо мной была всегдашняя тетя Корки, такая же разговорчивая и фантастическая, как всегда. Исхудавшая, конечно, и по-стариковски бесплотная, но далеко еще не при последнем издыхании, а наоборот, как будто обретшая удвоенную энергию и свежие силы. Та тетя Корки, которую я помнил по прежним временам, ушла так далеко в прошлое, что стала почти неразличима, заслоненная новым образом сухонькой, но вполне еще бодрой старушки. И комната словно бы уменьшилась, когда тетя Корки заняла в ней подобающее место, и льющееся

в окно морское сияние потускнело в дыму ее папирос.

— Это, разумеется, запрещено, — сказала тетя, постукивая по мундштуку папиросы ярко-малиновым ногтем. И добавила, помрачнев: — Они мне все время велят бросить, но я говорю, им-то какое дело?

Кровать, и стул, и тумбочка, и линолеум на полу — все вдруг сделалось таким печальным, уж не знаю почему, то есть не знаю, почему именно в это мгновение. Я встал и подошел к окну и посмотрел на море далеко внизу, где кончалась уходившая вниз лужайка. Свежий ветер шлепал по дымчато-синей воде, образуя дугообразные разводы, словно ее протирали, как зеркало. У меня за спиной тетя Корки говорила о том, что приближается лето, и как ей не терпится снова начать выходить. У меня не хватило духу напомнить ей, что сейчас сентябрь.

— Они тут все так добры ко мне, — говорила она. — Так внимательны. А мистер Хаддон — ты с ним познакомился, надеюсь? — он просто святой, да, святой! Конечно, его этому учили, у него есть диплом. Я с первого взгляда поняла, что он образованный человек. Я так ему и сказала. *Я всегда могу узнать культурного человека,* — го-

ворю, — *стоит мне только взглянуть.* И знаешь, как он мне ответил? Поклонился и поцеловал мне руку — да, да, поцеловал руку! *А я,* — говорит он интеллигентным голосом. — *Я, мадам, тоже сразу вижу тонкое воспитание.* Ну, я улыбнулась и закончила беседу; лишняя фамильярность ни к чему. Он за всем смотрит сам, за всем. Представляешь, — она изогнула шею, чтобы посмотреть на меня у окна, — он даже сам составляет меню. Правда. Я как-то похвалила его за вкусное рагу — помнится, это было рагу, — и он так смутился! Конечно, люди с такой пигментацией вообще легко краснеют. *Ах, мисс Корки,* — это он так меня зовет, — *ах, от вас, мисс Корки, ничего не скроешь!* — Тетя Корки умолкла и задумалась, зажмурив один глаз, скривив сморщенный рот и пуская клубы дыма. — Ох, надеюсь, я не зашла с ними слишком далеко, — зашептала она. — Эти люди иногда… Но, — она тряхнула золотыми кудельками парика, — что можно сделать? Раз уж я здесь, приходится…

Распахнулась дверь, сестрица Шарон просунула к нам рыжую голову и спросила: «Горшок подать?» Тетя Корки раздавила окурок и в сердцах отрицательно затрясла головой. «Ясно, — сказала Шарон, втянула голову, но тут же всунулась

опять, кивнула на топорщащуюся окурками пепельницу и назидательно произнесла: — Укокошат вас эти папиросы, вот посмотрите».

Когда она окончательно скрылась, я снова сел на стул у кровати. Тетя Корки, униженная, отвела глаза в сторону и шумно дышала, с негодованием расширив ноздри и по-птичьи вертя головой. А я опять затаил дыхание. Я ощущал себя добровольным участником сеанса левитации, который горизонтально висит в воздухе и боится шелохнуться. Тетя Корки нетвердыми руками закурила новую папиросу и выдула в потолок возмущенный фонтан дыма. *«Она,* разумеется, совсем не такая, как *он,* — с горечью сказала тетка. — Она, кажется, нигде специально не училась и отличается потрясающей бесчувственностью, потрясающей. Где он ее такую нашел, непонятно». Я сказал: «Ну, она еще молодая...» Тетя Корки посмотрела на меня с недоумением. «Молодая? — тихо взвизгнула она. — Это она-то молодая? — И закашлялась. — Да нет же, — раздраженно отмахнулась она, начертив в воздухе дымную восьмерку, — я не про сестру. Я говорю про *нее,* про жену (ядовитая гримаса), миссис Хаддон». С нею, если только у меня достанет энергии, я тебя вскоре познакомлю. Тетя Корки вытащила

патрон губной помады и, вздыхая и хмурясь, широкими мазками подретушировала условное изображение пары губ на месте провала, где некогда находился у нее рот. С этим обновленным рисунком стало похоже, будто ей на лицо уселась яркая тропическая бабочка.

Не помню, в тот ли мой приезд или позднее я рассказал ей про Мордена и его картины? Побывал ли я уже у него к тому времени? Видишь, как ты спутала мне всю хронологию. Я потерял ориентацию во времени, словно совсем выжил из ума. События из далекого прошлого видятся, будто это было вчера, а вчерашний день уходит в незапамятную даль, не успел еще померкнуть день сегодняшний. Некогда я отсчитывал время вперед и назад от того дня, когда ты встретилась мне на углу Ормонд-стрит; потом точкой отсчета, границей старой и новой эры стал день твоего исчезновения; теперь же — все течет. Я опустошен, как были, вероятно, опустошены Ученики в промежутке между голгофой и тем мигом, когда отвалили камень гробницы. (Господи, откуда это у меня? Еще чего доброго начнутся видения.) Ну да как бы то ни было, в тот день или в другой, но когда я рассказал тете Корки про свою новую работу, она пришла в восторг. «Искусство! — вос-

кликнула она с придыханием, скорчив гримасу в духе Руоприм, и прижала ладонь к груди. — Искусство — это молитва». Я сразу же раскаялся, что сболтнул лишнее, и безмолвно сидел, разглядывая свои ладони, пока она упоенно рассуждала про искусство, а кончила тем, что опять протянула дрожащую руку, вцепилась мне в запястье и страстно прошептала: «Какая удача для тебя! Ты сможешь начать новую жизнь!» Я отшатнулся, но она не испугалась, а продолжала смотреть мне в глаза, медленно, многозначительно кивая. «Ведь ты же сам знаешь, ты вел себя очень дурно; да-да, очень дурно», — сказала она и подмигнула мне с укоризной. Подними она сейчас руку и дерни меня за ухо, я бы не удивился; возможно, даже бы покраснел. Почему-то у меня сложилось впечатление, будто за то время, что мы не виделись, ей известно про меня не больше, чем мне про нее. Однако дурная слава не лежит на месте. Тетя Корки отпустила мое запястье и закурила новую папиросу. «Смерть не имеет значения, — произнесла она неизвестно к чему и нахмурила брови. — Ни малейшего значения». Она легко вздохнула, повела вокруг бессмысленным взглядом и, медленно отвалившись на примятые подушки за спиной, закрыла глаза. Я испугался,

встал, наклонился над ней; но ничего не случилось, она дышала. Я аккуратно вынул у нее из пальцев папиросу и раздавил в пепельнице. Рука ее безвольно легла на покрывало ладонью вверх. Тетя Корки попыталась было что-то сказать, но вместо слов изо рта у нее вырвался громкий трубный храп, и зашевелились ступни под одеялом.

Мне всегда бывает немного не по себе в присутствии спящих людей — то есть даже больше не по себе, чем когда они бодрствуют. Еще когда я был женат, в смысле — когда у меня была жена и все такое, мне хотелось бы на ночь оставаться одному, но понятно, признаться в таком желании не хватало духу. Меня пугает не само загадочное состояние сна, — хотя в нем, безусловно, есть что-то жуткое, — а то особое одиночество, в котором остаешься рядом с человеком, который спит. Это странный вид одиночества, он наводит на мысль о Трансильвании, о колдовстве, о всяких таких вещах. Ты сидишь, или еще того хуже — лежишь, в темноте, и рядом с тобой находится некто не мертвый, но сумевший вознестись, глубоко и мерно дышащий в темной высоте где-то на полдороге между двумя мирами, здесь и одновременно недоступно от меня далеко. В такие минуты я особенно остро осознаю собственное

«я», ощущаю электрические колебания и покалывания, эфемерность и ужасный груз жизни в форме дышащей и мыслящей единицы. Все это мне представляется дурной шуткой кого-то, кто пошутил и уже давно ушел, а смысл этой шутки забыт и никто этой шутке не смеется. У моей жены сон был беспокойный, но засыпала она мгновенно. Опустит голову на подушку, раз-другой содрогнется — и нет ее. Не было ли это для нее способом убежать от меня? Ну вот, опять я впадаю в свой неотвязный грех солипсизма. От чего она норовила убежать, Бог весть. От всего, наверно. Если это действительно было бегством. Может быть, она тоже, как и я, нуждалась в отдельном логове для себя и не хватало духу в этом признаться. Побыть одной. Наедине с собой. Наедине с… собой? Странное выражение. Я никогда его толком не мог понять. Ну а я, как я выгляжу, когда сплю, что время от времени все-таки случается? Как некто затаившийся во тьме и готовый к прыжку, с обнаженными клыками и зеленым огнем в глазах? Да нет, это слишком красиво, слишком гладко. Вернее, как большая жирная туша, выброшенная на берег из морских глубин, задыхающаяся, ловящая ртом воздух.

Да, так о чем я?.. Тетя Корки. Ее комната, залитая

предвечерним солнцем. И в ней — я. Папироса, которую я раздавил в пепельнице, все еще упрямо струила кверху тонкий, быстро вьющийся ядовитый синий дымок. Я подождал немного, глядя, как она спит, и ни о чем не думая, а затем тяжело, уперев ладони в колени, поднялся, побрел на подрагивающих ногах прочь и бесшумно прикрыл за собой дверь. За это время разноцветное пятно света из высокого окна заметно переместилось по площадке и уже начало взбираться вверх по стене. Удивительно, как подробности того дня залиты в моей памяти резким эллинским сиянием, гораздо более ослепительным и ярким, чем можно было бы ждать от обычного сентябрьского дня в этих широтах. Возможно, это вообще не память, а воображение, оттого вся картина и кажется такой правдивой. Внизу у лестницы меня встретил Хаддон, сгорбленный, заискивающий и в то же время настороженный.

— Да, с ней хлопот не оберешься, — сказал он, провожая меня до дверей. — Нам, к сожалению, пришлось забрать ее вещи.

— Вещи? — не понял я. — Какие вещи?

Он улыбнулся, чуть кривя рот на сторону.

— Одежду. Даже ночные рубашки. Она нас прямо с ума свела. Во всякое время дня и ночи

норовила уйти из дому.

Я малодушно улыбнулся в ответ, сочувственно покачал головой, а про себя подумал: *Представить себе только, каково это — быть им. Вот ужас.*

Выйдя на волю, я поразился тому, как жизнерадостно сияет все вокруг — солнце, ярко-зеленая трава, и эти ван-гоговские деревья, и необъятное светлое небо, окаймленное понизу золотистыми облаками; словно побывал в дальнем путешествии и вот вдруг опять очутился дома. Я бодро зашагал вниз по подъездной аллее, но когда калитка за мной захлопнулась, задержался и опять нажал звонок — и опять металлический голос пропищал мне что-то неразборчивое. Для чего я ему позвонил и что ему ответить, я не знал, он подождал минутку, сердито дыша металлом в аппарат, — и отключился, а я снова почувствовал себя глупо-беззащитным, повернулся и бочком, ближе к обочине, побрел вниз с горы.

Но в благодатном тепле золотисто-голубого сентябрьского дня сердце мое постепенно успокоилось, и еще раз что-то кольнуло в грудь, как раньше у ворот, когда я почуял эвкалиптовый дух. Что за райские волнения настигают меня в самые неожиданные минуты, когда мысли заняты

совсем не тем? Непроизвольные воспоминания вроде того, что пробудили у Пруста знаменитые пирожные «Мадлена»? Едва ли — на память не приходят никакие события прошлого, ни картины детства, ни любимые персонажи в шуршащих шелках и цилиндрах; нет, скорее это неожиданное освобождающее забвение, отсутствие всего, никогда не изведанное, но мучительно желанное. Это смутное грустно-восторженное чувство осталось у меня и по возвращении в город; как в тумане, послушно, ноги сами понесли меня по берегу реки и по Черной улице к дому Мордена. Видимо, какой-то частью сознания я не переставал думать о нем и о его тайнике с картинами в замаскированной комнате. Улица была безлюдна, одна сторона залита спокойным предвечерним солнцем, другая пряталась, точно под опущенным тентом, в густой тени. Двустворчатые двери «Лодочника» стояли распахнутые, оттуда, из темной глубины, исходили пивные ароматы. Мимо пробежала собака на трех лапах и равнодушно оскалилась на меня. Где-то по соседству в верхнем этаже разыгрывали гаммы на расстроенном фортепиано. Так судьба устанавливает свои жалкие декорации и при этом изображает равнодушие — задрав голову,

смотрит в небо и непринужденно посвистывает. Я остановился на углу и взглянул вдоль Рю-стрит на слепые окна и широкую дверь дома Мордена. Ничего не имея в виду, просто от нечего делать. Или, может быть, в глубине непроходимого лабиринта, который называется моей душой, я все-таки обдумывал его предложение. Может быть, именно в ту минуту я решил — если рассеянное скольжение мысли, заменяющее мне волю, уместно назвать решением, — что возьмусь за оценку и каталогизацию необыкновенных картин в его хранилище. (Опять это понятие воли, намерения, решимости; неужели я отступаюсь от своего нетвердого мнения?) Внезапно дверь отворилась, и вышла молодая женщина в черном, на минуту задержалась у порога, что-то проверяя в сумке — деньги? ключ? — а потом повернулась и торопливо зашагала по направлению к Ормонд-стрит. Знаю, ты утверждала потом, что увидела меня тогда на углу, но я запомнил так: дверь; остановилась, заглянула в сумку; затем решительный поворот, и не оглядываясь, ушла с опущенной головой, а сердце мое сжалось, как будто уже знало, что его ждет.

Вообще люди меня не особенно интересуют, я для этого слишком занят собой, но подчас, когда

мое внимание привлечено, я могу зайти удивительно далеко ради какого-нибудь банального открытия касательно совершенно постороннего человека. Глупость, конечно, сам понимаю. Могу сойти с автобуса задолго до своей остановки, вслед за какой-нибудь секретаршей, чтобы узнать, где она живет; блуждаю по большому универсальному магазину — ах эти счастливые охотничьи угодья! — просто чтобы выяснить, какой хлеб, или какую капусту, или какую туалетную бумагу покупает нагруженная сумками домашняя хозяйка с двумя сопливыми детишками в поводу. И не обязательно женщины — если у кого-то в предвкушении начинают жадно раздуваться ноздри: это может быть мужчина, ребенок — кто угодно. Думаю, любой первокурсник, специализирующийся по психиатрии, знает название этой моей слабости. Она безвредна, как привычка ковырять в носу или кусать ногти, но доставляет мне некоторое скромное удовольствие. Говорю в свое оправдание (хотя кто бы, интересно, захотел выступить моим обвинителем?): тогда, пускаясь украдкой вдогонку за той молодой женщиной, совершенно (о, совершенно!) мне не известной, я не имел иной цели, как просто узнать, куда она идет. Понимаю, до чего хрипло и неубедительно

звучат эти отговорки, утверждающие мою невиновность. Наверняка кто-нибудь, заметив, как мы идем по улице, она — по солнечной стороне, я — крадучись за нею в тени, вполне мог бы подумать, что следует привлечь внимание полицейского. На ней было черное платье с короткими рукавами и туфли на немыслимо высоких каблуках, и она семенила на них с примечательной быстротой, сумку прижав к груди, вытянув тонкую шею и пригнув голову, словно заглядывала за край пропасти, которая при каждом ее звонком шажке отступала перед нею. Очень бледная, черные волосы подстрижены, как у пажа (моя Лулу!)[2], узкие плечи высоко вздернуты, и очень тонкие ноги; даже с такого расстояния мне были видны маленькие белые руки с розовыми костяшками суставов и кое-как намазанными лаком обгрызенными до мяса ногтями. В этот погожий осенний день она выглядела странно в черном платье, в черных чулках со швом и на блестящих каблуках-шпильках; новоявленная вдова, подумал я, спешит к адвокату, где будут зачитывать завещание. На углу Ормонд-стрит она остановилась, должно быть, испугавшись

[2] Примечания: 2

Лулу — героиня произведений немецкого писателя Ф. Ведекинда (1864–1918), гибнущая в борьбе за свободную любовь.

толпы, шума и сгрудившихся в вечернем заторе автомобилей, нетерпеливо подрагивающих на солнце. Оглянулась через плечо (вот когда ты меня заметила), но я поспешил отвернуться и стал разглядывать витрину, а горло мне сдавило от страха и ликования, я всегда вспыхиваю и трепещу, если в разгар погони моя добыча вдруг замедляет шаг, словно почувствовав у себя на затылке жар моего дыхания. Потом спохватился, что стою, оказывается, перед окном, где нет никакой витрины, только пустота и паутина. Оборачиваюсь к женщине в черном — ее нет. Дошел до угла — исчезла бесследно. Обычно, если я вижу, что объект моего нездорового интереса улизнул, меня охватывает двойственное чувство разочарования и в то же время не вполне объяснимого облегчения. Легким шагом поворачиваю назад — она стоит прямо передо мной, совсем близко, я чуть не налетел на нее, стоит неподвижно в лиловой тени, все так же крепко прижимая к груди сумку. Она оказалась старше, чем мне виделось на расстоянии (ее возраст, я только что подсчитал по календарю, был тогда — двадцать семь лет, четыре месяца, одиннадцать дней и приблизительно пять часов). Черная лоснящаяся макушка пришлась вровень с моим кадыком.

Волосы — очень черные, иссиня-черные, как вороново крыло, а под глазами — сиреневые тени. Особые приметы, Бог ты мой. Почему-то я воображаю у нее на голове маленькую черную шляпку с черной вуалью до половины лица — шутка, должно быть, сыгранная моей памятью. При чем тут эти иноземные аксессуары? Но что правда то правда, она подняла руку к голове и что-то поправила, прядь волос или сбежавшую ресницу, не знаю, но я заметил, что рука у нее дрожит, а на пальцах — никотиновая желтизна. Отвернув бледное круглое, заостренное книзу личико, она, щурясь, смотрела куда-то в сторону, и слова, которые она проговорила, я даже не был уверен, что должен отнести на свой счет.

2. ПОХИЩЕНИЕ ПРОЗЕРПИНЫ, 1655
Л. ван Хобелейн (1608–1674)

Холст, масло, 15 x 21 1/2 дюйма (38,1 x 53,30 см)

Несмотря на некое несоответствие грандиозности замысла скромным размерам, в сущности, эта картина представляет собой самую мастеровитую и, наверно, лучшую из работ ван Хобелейна. Художник поставил перед собой цель изобразить как можно больше подробностей мифа о похищении дочери Деметры богом подземного царства, и в результате полотно получилось плотно наполненным, чтобы не сказать — переполненным, подробностями и отдельными сюжетами, а благодаря плоскостной текстуре и странной, укороченной перспективе оно производит впечатление скорее натюрморта, чем сцены активного действия, как было задумано автором. Художник тонко и изобретательно представил нам смену времен года — природное явление, лежащее в основе данного мифа. Год

начинается в левой части картины на весеннем лугу над озером Пергус — примечательно, как блестит и сверкает водная гладь сквозь темные кроны обступивших озеро деревьев, — где подруги Прозерпины, не ведающие о том, что с нею случилось, резвятся среди раскиданных по траве фиалок и лилий, которые высыпались из подола царевны, когда ее схватил подземный бог. На переднем плане в центре — огромная фигура сидящей Деметры, возвышающаяся над плодородной летней нивой; зубы ее подобны перловым крупинкам (или зернам граната), на волосах венок из пшеничных колосьев — гротеск, образ в стиле Арчимбольдо, мать мистерий, престарелая, но всевластная. Слева от нее, в правой части картины, деревья на берегу узкого залива уже пожелтели и в воздухе висит осенняя дымка. А в воде, погруженная по пояс, нимфа Киана, проклятая богом смерти, тает, растворяясь в собственных горьких слезах. У нее за спиной, там, куда Плутон швырнул свой скипетр, зияет дыра в расступившихся водах. По воде плывет какой-то предмет, если посмотреть в лупу, он оказывается темно-синим платком; это — пояс Прозерпины, который указывает обезумевшей от горя Деметре след дочери, ведущий в подземное царство. Пояс

на волнах — это игра ван Хобелейна со временем, поскольку, рассматривая фигуру Прозерпины над волнами, мы видим, что он еще не упал с ее талии; в этом нарисованном мире присутствуют одновременно все времена и можно возвратиться в любое. А с каким безупречным расчетом художник расположил в туманном морском воздухе над волнами крылатую колесницу, где сидят бог и дева! Вся группа, состоящая из экипажа, коней и пассажиров, имеет в длину, от раздутых ноздрей коренника до кончиков разметанных по ветру волос Прозерпины, всего каких-то пять сантиметров, и однако же мы кожей ощущаем страшный вес мчащейся массы железа, древесины и живой плоти, которая сейчас канет в разверзшуюся пучину вод. Это неотвратимое, с минуты на минуту, падение служит как бы предвестием насилия над девушкой, которое вскоре свершится в Тартаре. На темном лице бога застыла гримаса похоти, смешанной с самоомерзением, а правая рука подняла над головой тяжелую черную плеть жестом свирепым и в то же время бесконечно усталым. Прозерпина, хрупкая, но удивительно жизненно выписанная, кажется равнодушной к происходящему, она оглянулась через плечо и смотрит назад, за пределы рамы, с томно-печальным вы-

ражением, она находится между светлым миром живых и страной мертвых, и ни там, ни тут ей уже никогда не быть своей. А позади нее вверху картины — Этна; она изрыгает пепел и пламя на зимние поля, уже опустошенные гневом горюющей Деметры. Мы видим сломанный лемех, и отощалых быков, и земледельца, оплакивающего свою бесплодную ниву, которую погубила богиня в злобе на землю, не пожелавшую открыть ей, куда делась ее дочь. На этом завершается годовой круг. В голову приходят другие живописные произведения, посвященные смене времен года, например «Весна» Боттичелли; но ван Хобелейн — отнюдь не «северный Боттичелли», каким его провозгласили некоторые критики, его бедная картина с нарушенной перспективой и с примитивной символикой полностью лишена той грации, того божественного равновесия, той неслышной музыки, которая пронизывает прозрачный воздух на полотне итальянского живописца и делает его непреходящим и неисчерпаемым шедевром. Тем не менее «Похищение Прозерпины» по-своему оказывает сильное и довольно жуткое воздействие, оно дышит предощущением беды и потери и покорностью разрушительной силе любви, ничтожеству чело-

веческих желаний и необоримой тирании рока.

~~~

Я теперь понимаю, что должен был сказать ей, кто я, признаться, что уже был в доме Мордена, видел его самого и его картины. Иначе говоря, мне следовало открыться, но я этого не сделал, и все завязалось в тумане двусмысленностей и недомолвок. С другой стороны ты, вернее — она (надо научиться писать в третьем лице, ведь в конечном итоге ты и оказалась она), она тоже была, по-видимому, не совсем искренна, в тот день она держалась со мной как с любезным незнакомцем, кому она готова на час-другой облегчить бремя одиночества, однако позднее сама же утверждала, что отлично знала, кто я такой, или же, по иной версии, — она рассказывала то так, то этак — знала, что я как-то связан с Морденом и его домом. Иначе почему бы ей было обращаться ко мне там, на углу? — крикливо, как мелом по доске, доказывала она, выдавая себя этим визгом; уж не думаю ли я, что она имеет обыкновение приставать на улице к незнакомым мужчинам? На это я прямо не отвечал, а лишь скромно ссылался на Купидона и его стрелы, но она только
~~~

презрительно фыркала. Впрочем, откройся я ей тогда же, в первый день, не было бы той захватывающей таинственности, которая окрасила все, что потом происходило между нами, не возникло бы жаркого, гудящего напряжения, идущего от лжи и притворства.

И вот, как ни странно, мне второй раз за неделю показывали этот дом. Теперь, конечно, все выглядело совсем иначе. Акценты падали на безударные доли. В прохладном безмолвии белого дня я поднимался следом за нею по лестнице, стараясь оторвать взгляд от ее узких маленьких ягодиц, перекатывающихся в тесной оболочке черного шелка; почему-то, мне и сейчас неясно, почему, мне представлялось, что моя обязанность — не допускать намека на открывающиеся возможности. Вероятно, несмотря ни на что, в глубине души я джентльмен старой школы. Сейчас пользуюсь случаем, пока я еще не ступил обеими ногами на скользкую наклонную плоскость и способен четко формулировать мысль (потом этому будет постоянно мешать срывающееся дыхание), чтобы сказать, что когда дело касается так называемой любви и всего под этим подразумеваемого, я — дурак дураком. Всегда им был и буду, пока жив. Я не понимаю женщин, то

есть понимаю их, по-видимому, еще хуже, чем остальные представители моего пола. По временам мне даже кажется, что в этом непонимании и состоит определяющий фактор всей моей жизни — пустая область неведения там, где для других лежит хорошо освещенная полоса с обязательными дорожными указателями. У меня в этом месте, в Бермудском треугольнике моей души, исчезают тонкие различия, необходимые условия морального здоровья, просто растворяются в немом воздухе, и больше уже о них ни слуху ни духу. Я мог бы обвинить за это женщин, бок о бок с которыми мне довелось жить — мать, например, или, само собой, ту, что была когда-то моей женой, — мог бы упрекнуть их в том, что они не просветили меня должным образом, не открыли мне хотя бы некоторые секреты их братства (сестринства?), но какой был бы толк? Никакого. Это мой природный недостаток, он был у меня с самого начала. Может быть, при взрывчике, от которого я образовался, вылетела какая-то хромосома. В этом, наверно, все дело, я просто несостоявшаяся женщина. Тогда многое объясняется. Но нет, это было бы чересчур просто; если бы даже и так, открываются слишком большие возможности для самооправдания. Нет, не утра-

ченного женского начала в себе я ищу, а разгадку несказанной тайны Другого человека (слышу, как ты непристойно хихикаешь); я всю жизнь ныряю за нею опять и опять, как в заросшее Саргассово море, и все никак не достану дна. Мне казалось, что в тебе я наконец нащупал ногами песок и теперь могу по нему ступать невесомо, и пузырьки, подымаясь, будут целовать мои лодыжки, а мелкая живность прыснет в разные стороны, потревоженная моими замедленными шагами. Но выходит, я ошибся, уже в который раз.

Мы остановились на круглом балконе под куполом, и она закурила сигарету. Она все время, досадливо хмурясь, рассеянно озиралась вокруг, как будто что-то потеряла, но не может вспомнить, что. Рассеянность — вот какое слово у меня с ней ассоциируется. Рассеянность, задумчивость, безразличие, отсутствующий вид. А теперь, в конце череды крушений, уже совсем в ином смысле, просто — отсутствие. Курила она со школярским форсом: торопясь, шумно втягивала дым, а потом выдувала обратно большими синими клубами. Над нами в высоких окнах, словно сложенный из твердых каменных кубиков, стоял дневной свет. В небе пролетел самолет — стекла мелко-мелко задребезжали, и в унисон задрожало у меня под

ложечкой; я вдруг понял: то, что я сейчас испытываю, это прежде всего страх — я боюсь, и не только Мордена и что меня тут застигнут — он сам, или его подручный, или черный пес подручного, но боюсь и ее, и этого дома — вообще всего. Впрочем, не уверен, что «страх» — подходящее слово. Тогда что-нибудь менее определенное? Тревога? Дурное предчувствие? Трудно сказать. Но ощущение было не без приятности, в нем содержалось что-то от детства, от игр с девочками-проказницами в натопленных, полуосвещенных парадных комнатах воскресными вечерами давнего прошлого. Да, именно это меня поразило тогда, в первый день: ощущение, будто я перенесен в раннюю пору своей жизни, в пору смятения, предвкушения и поисков на ощупь, вслепую. Ведь я не понимал, что происходит, зачем она привела меня сюда, и кто она такая, и почему одета в скользкие, тугие вдовьи шелка (кстати сказать, я так и не разгадал загадку этого необычного заморского одеяния; это что, твой рабочий костюм обольстительницы?). Я был, как подросток, насторожен и неуверен в себе и так же весь в поту от возбуждения. Нет, я не знал, что происходит, но как человек, от природы доверчивый, верил, что есть кто-нибудь, кто знает.

А. — вот как я назову ее. Просто — А. Я много об этом думал. А — даже не первая буква ее имени, а так, буква и все. Но почему-то мне кажется, что она подходит, звучит правильно. Ее можно произносить на разный манер, от удивленного возгласа до стона наслаждения или боли. Она будет у меня всякий раз означать иное. А. Моя альфа; моя омега.

В том, как А. держалась, было любопытство и нетерпение, да еще с примесью равнодушия и вызова, — ну просто сердитый избалованный умненький ребенок лет двенадцати. Глядя мне в лицо, она, как бы это сказать? — колыхалась, словно мы с ней исполняли фигуры какого-то танца, где мне полагалось оставаться на месте, а она, вся колеблясь и мерцая, то приближалась, то вдруг отступала и все время поглядывала на меня из-под черной вуали, которую моя распаленная фантазия навесила ей на лицо. А еще через мгновение, внезапно охромев и скинув туфлю, она уже стояла на одной ноге, неловко наступив на нее сверху другой ногой в черном чулке, понурясь и прикусив младенчески розовую нижнюю губку крохотными влажными, почти прозрачными зубами. Впечатление такое, будто она примеряет на себя разные облики, убеждается, что плохо

сидят, и с досадой отбрасывает. Она вовсе не дом мне показывала, а демонстрировала самое себя — самих себя! — выставляя на слепом фоне белых стен приблизительные изображения того, чем она была на самом деле и что останется — не может не остаться — скрытым навсегда. Но в моих ушах первобытными тамтамами стучала кровь, сжатые кулаки взмокли — я ждал заключительного показа, падения последней завесы, ждал, что она поведет меня в потайную комнату. Конечно, это ее я видел через прореху в крошащейся стене, когда приходил сюда первый раз. Отомкнет ли она последнюю дверь, впустит ли меня внутрь? Я стоял на балконе, в вышине, повиснув на косом луче света, а вокруг все туго дрожало и гудело, как будто это не дом, а корабль, плывущий с попутным ветром под всеми парусами. Я чувствовал, что отправляюсь в полное опасностей дальнее плавание.

Все это в моей памяти происходит среди звенящей тишины, но на самом деле моя проводница по дому давала беспрерывные пояснения своим дымным, севшим голосом. Что именно она говорила, не помню. А интонация была невыразительная, но с какими-то странными нажимами невпопад. И впоследствии всегда так, это был у

нее способ не сказать то, что она действительно думает. Звучит бессмысленно? Для меня — нет. Иногда она замолкала и прислушивалась, но не к звукам окружающего мира, а словно бы к голосу, идущему из глубины себя, который ей что-то нашептывает, дает советы, отчитывает. Помню, один раз она мне сказала — мне представляется, что это было гораздо позже, уже в другую эпоху, но на самом деле прошло, наверно, недели две, ну три, не больше, — помнится, она пожаловалась, что иногда ей страшно за собственный рассудок, она не может заставить себя не думать. В трудах любви мы скатились с комковатого раздвижного кресла на пол и теперь тихо лежали, следя в окно, как тучи, точно обломки былого величия, печально проплывают над хаосом городских крыш. Это осеннее предвечернее безмолвие, и холодный ртутный блеск небес, и в общем-то ласковый холодок, и деревенские запахи палой листвы, мокрой глины и древесного дыма, проникавшие даже сюда, в городскую глубь, — как сладко сжималось от всего этого бедное сердце! Она лежала на животе, натянув до плеч старый, траченный молью плед и держа в странно пухлых белых пальцах с покрасневшими суставами подрагивающую курящуюся сигарету. В углу рта

виднелась размазанная губная помада, похожая на свежую ссадину. Ее пугает, говорила она, эта беспрерывная работа. Все вертится и вертится, даже во сне, словно какой-то мотор, который нельзя ни на минуту отключить, а то он никогда больше не запустится. Как будто бы это только у нее одной так. Как будто бы только ее мозг работает без остановки, а мы, все прочие, можем превращаться в зомби по собственному желанию в любое время. И так во всем, по ее понятиям, все, что происходит с ней, — уникально. Это, думается мне, не самовлюбленность и не самоедский эгоцентризм, в который порой погружаюсь я. Она просто не способна вообразить, что все остальное человечество живет, как и она вынуждена жить, в таком же одиночестве, внутри вечно работающего, крутящегося сознания; ведь иначе давно бы уж это как-нибудь исправили? Она в отличие от меня верила в прогресс и твердо держалась того мнения, что все постоянно изменяется к лучшему — в жизни других людей, понятное дело.

Впрочем, тогда, в первый день, пока мы топтались на площадке, мне казалось, я понимаю ее колебания: раскрыть мне или нет (неведомую мне, как она думала) тайну Мордена — показать ли белую комнату и составленные штабелем

у стены картины? Но потом все-таки решила, что нет, с сожалением повернулась и повела меня обратно вниз. И тут меня словно вдруг отпустило, спало возбуждение ума и тела, и мне захотелось поскорее расстаться с нею и с этим домом и остаться одному. Как видите, это всегда со мной — жажда одиночества, влечение в нору, в тюремную камеру. Внезапно, как удар в висок, мне стукнуло в голову: ну конечно, это Морден подослал ее ко мне (это неправда, я ошибался), подвел ее к высокому окну, показал меня сверху, когда я проходил по переулку, и сказал: «Видишь, топает вперевалку? Это он. Ступай вниз и сделай свое дело». Сутенер. Мне припомнилось, как он небрежно, скривив насмешливо губу, упомянул о своей жене *(Моя жена, знаете ли, моя красавица жена).* И усмехнулся. Она, сказал я себе, идет в приплату, вдобавок к свободе действий и проценту от выручки, которые он мне посулил; она — это последний довод. (Не прятался ли и сам Морден где-то в доме, подсматривая за нами?) Да, мне вдруг все стало ясно. Спускаясь следом за нею по лестнице, я не отводил вновь распаленного взгляда от ее черного, ровно подстриженного затылка с мыском темного пушка в ложбинке на шее, похожего формой на перевернутый язы-

чок свечного пламени, и копил в душе злобу на Мордена за такое коварство (его крупное лицо с ухмылкой Чеширского кота почти витало над лестницей в воздухе), и одновременно на другом, еще более темном, краю леса нечто, испившее магического зелья, все разрасталось и разрасталось, и мозг мой, будто сам по себе, прикидывал, охваченный черным пылом, как далеко ей, по инструкции, позволено со мною зайти? Но мало того, я еще твердил себе, что все это — чистейший вздор, фантазия, рожденная в моей голове и еще в некоторых обледенелых частях моего существа, сказка, чтобы немного осветить мое тусклое житье; а если даже она и знает, кто я, значит, просто скука, или холодное любопытство, или, может быть, желание сунуть нос в дела Мордена побудили ее заговорить со мной в светотени на шумном уличном перекрестке, где я стоял и бормотал что-то себе под нос, пожилой, неприбранный, жалкий. Внезапно она, словно услышав, как со скрипом пришло в движение мое проржавевшее, застоявшееся либидо, обернулась ко мне, держась за перила одной рукой (я вижу, кстати, что она уже обзавелась черными перчатками по локоть, под стать черной шляпке с вуалью, которыми еще раньше снабдило ее

мое воображение), заглянула мне в глаза из-под накрашенных угольно-черных ресниц и заговорщически усмехнулась, и эта усмешка пролилась на мою ржавую, спекшуюся механику, точно капля разогретого светло-желтого масла. И получилось, что это мы с нею, а вовсе не Морден, здесь заговорщики, участники какого-то хитрого, ухищренного комплота, чересчур запутанного для моего перегруженного понимания.

— Пошли, — сказала она. — Покажу тебе кое-что.

Как передать словами странность, восхитительную несообразность первого часа, проведенного с нею? Мы как будто бы очутились в вышине на слабо натянутой сетке, и она ступала по ней легко и смело, а я все время боялся, что вот-вот оступлюсь и упаду, дрыгая руками и ногами. Я все время со страхом ждал, что она сейчас объяснит, зачем мы здесь и что здесь делаем (сейчас я недоумеваю, почему я считал, что это объяснение меня непременно расстроит?), но ждал я напрасно. Она шла легкими шажками, походя указывая на ту или иную совершенно неинтересную достопримечательность пустого дома, как будто между нами уже все было понято и уговорено, — не то экскурсовод, не то скучающая

бандерша, принимающая в своем обшарпанном заведении очередного скромного клиента. Имя Мордена она не произносила (и вообще она, помнится, никогда о нем впрямую не упоминала), не сказала, как ее зовут, не поинтересовалась, как зовут меня. Значит ли это, что она действительно знала, кто я? Может быть, когда я ее увидел первый раз через прореху в перегородке, она тоже меня заметила, заинтересовалась и приняла решение непременно разузнать, кто я таков и что за человек? Как я спокойно формулирую эти вопросы, а ведь они порождают у меня в душе целую бурю мук и волнений, потому что узнать правду наверняка мне никогда не удастся, сколько бы ни ломал я над ними голову, как много безумных часов ни проводил, перебирая те скупые улики, которые после тебя остались. И потом, для ее целей, каковы бы они ни были, пожалуй, не хуже меня сгодился бы и кто-нибудь другой, еще какой-нибудь бедняк, который с этой минуты навсегда останется со мной, потому что я ясно представил его себе в виде терпеливо выжидающего фантома, затаившегося за углом моего ревнивого зрения. Я не думаю, что она лгала, то есть, по-моему, она со временем уверила себя, что, разумеется, она всегда знала, кто

я, как бы ни обстояло дело в действительности (Господи, совсем запутался). Всякие такие вещи — даты, события, обстоятельства той или иной встречи, решающие объяснения и их исходы — не удерживались у нее в памяти, они бесследно проваливались в пустоту; спорить с нею было бесполезно, если она считала, что было так, значит, так оно и было, и дело с концом. И с такой убежденностью, что я начинал сомневаться в самых очевидных истинах, а если — когда — я наконец сдавался, она смягчалась и отворачивалась, неумолимая и довольная. И вот теперь я, похожий на увлеченного натуралиста, который сам не верит собственной удаче, спускаясь позади нее по бесконечной гулкой лестнице, наблюдал за надкрыльями ее лопаток, шевелящимися под жесткой тканью платья; приглядывался к белым, как рыбье брюшко, подколенным углублениям и к темным волоскам на голенях, примятым под нейлоном, точно черная трава, прибитая дождем; и жалел ее бедные пятки, натертые задниками таких ужасных туфель. Мне казалось, будто я переношусь в иные времена и в иные, воображаемые места: то это был весенний день в Клиши (я никогда не был в Клиши), то жаркий грозовой вечер на дороге где-то в Северной Африке (там я

тоже не бывал), то старинный замок — огромный зал, высокие стены, обшитые понизу дубовыми панелями, на выцветшие гобелены падает бледно-желтый солнечный луч, и где-то играют на спинете (хотя я в жизни не видел спинета и не слышал, как на нем играют). Откуда они берутся, эти загадочные, яркие мимолетные видения, не из памяти, но ведь и не просто из вымысла? Ты верила, сама же говорила, что мы все уже жили когда-то раньше; может быть, ты была права. Вернее, *не была,* а просто права. Я держусь за формы настоящего времени, как скалолаз за последние упоры на гладкой скале.

Мы спустились в нижний этаж, и она повела меня на черную половину. Я думал, что она хочет выйти со мною в сад — сквозь зарешеченное стекло низкой задней двери мелькнуло зеленое растительное буйство, — но нет, мы сошли вниз еще на один лестничный марш. Здесь ступени были узкие, каменные, я чуть не кубарем скатился по ним следом за нею. Внизу оказался сырой, замощенный каменными плитами подвальный коридор, свет в него проникал через окошечко в дальнем конце под самым потолком, и в нем, как детали машины, быстро мелькали ноги прохожих, шагающих по солнечному тротуа-

ру, который отсюда, из ямы, казался словно на другой планете. Воздух в подвале был влажный, холодный. Сильно пахло известкой. Внезапно в насторожившейся тишине А. взяла меня под руку, и я ощутил прохладный шелк ее запястья, и к моим ребрам прижались тонкие косточки ее локтя. По нервам побежал беззвучный взрыв. Сквозь аромат духов пробирался еле уловимый едкий лисий запах пота, а когда она пристроила плечо у меня под мышкой, оттопырился глубокий вырез платья и открыл мне (вообрази панически вывернувшееся книзу глазное яблоко, над зрачком — белок в кровяных прожилках), открыл мерцающее подножие белого холма и резной край кружевца. Я чувствовал себя рядом с нею большим, неповоротливым, эдаким грубым, кривоногим, пыхтящим орангутангом. Мне представилось, как я поднимаю ее волосатыми ручищами в обручах и уношу в лесную чащу, гогоча и ликуя. А. остановилась перед какой-то дверью, и мне было видно, как ее от пят до макушки пробрала мелкая дрожь, словно пронеслась по воздуху быстрая стрела. «Вот, — с тихим смешком проговорила она. — Это здесь».

Внутри я ничего не увидел, только длинный низкий подвал со сводчатым кирпичным потол-

ком в перекрестьях проводов. С потолка свисало штук пятнадцать голых лампочек, но несмотря на такое их множество, они проливали вниз лишь тусклое фосфорическое сияние, оно расползалось по темным углам и там умирало. Вдоль одной стены стоял деревянный верстак со старыми рубанками, угловыми ящиками и прочими подобными приспособлениями и тянулась целая панель мощных электроламп, сейчас выключенных и прикрытых, но грозно выстроившихся в безмолвной готовности. А. начала было что-то говорить, но у нее получилось слишком громко, она со смехом прикрыла рот ладонью, а крылатые отзвуки разлетелись вверху под темным сводом, словно летучие мыши. В воздухе стоял смешанный запах опилок, и клейстера, и терпкого масла, он как будто бы был мне знаком, но откуда, я не мог вспомнить. Может быть, это я сейчас, задним умом, нахожу во всем этом что-то смешное? В затылок мне потянуло холодком, я обернулся, чтобы что-то сказать А., но ее не оказалось. Хотел было позвать ее, как вдруг за дверью послышалось цоканье когтей по камню, сердце у меня дернулось вбок, потом одним сильным толчком выровнялось. Стук когтей смолк — в дверях неслышно встал пес Принц и смотрел на меня, приоткрыв

пасть и высунув подрагивающий красный язык. Протекло мгновение. Я осторожно протянул к животному руку и заговорил с ним сдавленным хриплым голосом. Я испытывал страх пополам с досадой: ну надо же было мне попасться в такую западню! На протяжении последнего получаса я с тревогой ожидал, что сейчас, сейчас меня здесь застанут, недоумевающего, расстроенного и чем-то необъяснимо виноватого. По спине у меня, между лопатками скатилась капля пота, холодная и быстрая, как острие ножа. И тут же рядом с Принцем из воздуха возник Франси, держа руки в карманах, ухмыльнулся, пососал зубы и сказал: «Персональный просмотр, а?» Он обшарил подвал молниеносным зорким взглядом и принюхался; пес тоже. Ну конечно, духи А., я их тоже чуял. Франси прошел к верстаку, взял в руку маленький молоточек, повернулся ко мне и…

Хватит. Мне не нравится в этом подвале, совсем не нравится. Один взмах моей волшебной палочки, и мы снова на первом этаже.

Сутуля плечи, поглядывая по сторонам и ухмыляясь про себя, Франси пригласил меня пропустить по стаканчику у «Лодочника». И мы пошли по Фоун-стрит в бронзовой вечерней дымке. Низкое солнце светило прямо в глаза. Пес следовал

за нами по пятам, опустив морду и прижав назад острые уши. Улицы заполнила толпа служащих, торопящихся по домам, автобусы ревели, вздымаясь на дыбы, автомобили кашляли и коптили. Я думал про А., про ее бледное лицо и яркие губы и про лиственный шелест ее шелкового платья. Навстречу нам шли хилые девицы, с ног до головы в черном, с густо набеленными лицами, под ручку с волосатыми, увешанными цепями кавалерами; при виде Франси они переглянулись и толкнули друг дружку под бок. Он был одет как всегда: в поношенный твидовый костюм своеобразного рыжеватого оттенка и рубашку без воротничка, на голове — плоская кепка, на ногах — коричневые туфли с потрескавшимися загнутыми острыми носами. Что-то вроде тех персонажей, которые в моем детстве появлялись иногда у нашей двери, — точильщики, старьевщики, жестянщики, продававшие кастрюли, вечные типы неизвестного происхождения, они бесшумно приходили и так же бесшумно уходили, чтобы потом возникнуть где-то на периферии моих сновидений.

Мы свернули на Хоуп-эллей и там увидели Квазимодо — помнишь его? — он пел «Зовут меня Антрима зеленые холмы» и тряс перед

прохожими пустой пластмассовой миской. В последнее время я иногда встречал его на улицах и присмотрелся к нему получше. Меня всегда, по вполне понятным причинам, интересовали люди, достигшие дна. Попрошайничество было для него новым падением, прежде он зарабатывал тем, что носил на груди и спине две вывески ювелирного магазина «Бижу», что в переулке как свернуть с Аркейд-стрит. То-то у него тогда было сладкое житье — сиди себе на высоком табурете над тротуаром, попивай чаек из термоса, заедай огромным бутербродом да читай газету. Плакаты у него были бестолковые, вверху надпись: «Бижу, Дом Счастливых Колец», и ниже нарисована как бы рука с вытянутым указательным пальцем, но направленным не в ту сторону. Роста небольшого, лицо, туго обтянутое кожей, лоснится, как коричневый каштан, и прилизанные жирные черные волосы, словно только что снял с головы тесную тюбетейку. Горб в глаза не бросался, вообще он выглядел скорее сгорбленным, чем горбатым. Посмотреть спереди — плоская черепашья голова выставлена вперед, на губах постоянно напряженная, опасливая улыбка (тик, должно быть), похоже, он каждую минуту ожидает, что его сейчас для потехи кто-нибудь ударит;

но никто не ударяет. Я чувствовал себя за него в ответе, и мне было неприятно, когда Франси кивком указал на него и заметил со смешком: «Да, пошел на понижение, бедняга. Следующая ступень — только на живодерню». Мы поравнялись с ним, Франси остановился, встал перед ним и принялся с притворным удовольствием покачивать головой в такт с его фальшивым ревом. Квазимодо, взволнованный этим неожиданным вниманием, заревел еще громче, быстро переводя при этом туда-сюда взгляд с Франси на меня и обратно, только посверкивали желтые белки. А я думал: где он живет, какая нора служит ему укрытием? Ведь должна же была у него когда-то быть мать, размышлял я с тихим недоумением. Я попробовал было представить себе его грудным младенцем. Безуспешно. Но вот песня закончилась финальной руладой, он плотно закутался в старое серое пальто и бочком, бочком пошел прочь, на ходу оглядываясь на нас из-за своего горба. Франси смотрел ему вслед. «Спешит пропустить стаканчик», — определил он. Мы двинулись дальше, Франси посмеивался про себя и покачивал головой.

— Слыхал такой анекдот? Оборванец входит в пивную. «Девушка, бутылку денатурата, по-

жалуйста, да поживее!» Та приносит бутылку, оборванец потрогал и отдает обратно. «Она у вас не на льду стояла? Так теряется весь аромат, моя милая».

Я должен сказать несколько слов про смех Франси — хотя не уверен, что вообще правильно называть это смехом. Сощурив глаза и скривив на сторону верхнюю губу, так что приоткрывался один желтый клык, он издавал нисходящие триоли сиплых, басовитых, сдавленных звуков, слегка напоминающие сморкание, и мелко дергал плечами. Если это и был смех, то какой-то осторожный, скупой, словно человек слишком дорожит уморительной комичностью мира, чтобы делиться ею с другими, а то себе мало останется. Даже в тех случаях, как сейчас, когда он рассказывал что-то смешное сам, похоже было, что анекдот служит только для отвода глаз, а в действительности он потешается над чем-то другим, известным ему одному. Вообще казалось, он все время как-то изворачивается, увиливает, то ускользает из виду, то снова появляется. Вроде фокусника-затейника, который подберется неслышно сзади слева и постучит по твоему правому плечу, ты оборачиваешься вправо — никого нет; а потом слышишь, как он тихо посмеивается

позади тебя с левой стороны.

В пивной было шумно и полно народу, освободившегося со службы после восьмичасового рабочего дня, бледнолицых парней в дешевых модных костюмах и озабоченных девиц в перманентах и с гусиной кожей. Мы сели на табуреты за стойкой, Франси снял кепочку, надел себе на колено и откинулся спиной на перегородку с зеркалом, в котором отразился его двужильный затылок и одно необыкновенное, приплюснутое ухо; меня там тоже было видно, вернее, половину меня: странно испуганный глаз, унылую скулу и приподнятый словно бы в судороге угол рта. Я взял джина, а Франси баловался со стаканом легкого пива: наберет в рот и процеживает туда-сюда, а потом половину выпустит обратно в стакан; под конец там на дне образовалась волокнистая муть, противно было смотреть. А у меня опять начиналась головная боль. Франси смотрел на меня глаза в глаза, но все равно мне казалось, что он, посмеиваясь, мерит меня взглядом с головы до ног.

— А вы уж взялись за дело, я вижу, — сказал он и тихо присвистнул. — Вот это я понимаю — невтерпеж!

Я сначала было подумал, что он намекает на

А., и у меня стало горячо под ложечкой: так и есть, он сумел заглянуть в мои мысли, где все еще оставался образ ее гибкой шелковой молодой спины, восходящей впереди меня по шкале обозрения. Франси рассматривал меня, прищурясь, и вдруг я заметил, как из глубины его глаз что-то блеснуло, словно зубы хищного хорька на дне темной норки.

— Ну, и что же вы думаете?

Но тут на меня налетела высокая молодая женщина с обнаженными плечами и поразительными серыми глазами с поволокой, извинилась и, раскатившись смехом, прошла дальше.

Что я думаю? Я думал, что лучше промолчать. Ему только сделай знак, и окажется, что мы уже на пару строим планы, как выкрасть картины у Мордена, а выручку разделить пополам. Неплохая мысль, между прочим. Но беда с Франси в том, что по-настоящему настоящим человеком он для меня не был, а так, каким-то сделанным, искусственным, чье общество (если можно считать обществом его присутствие) не предусматривает доверия. Привкус фальши передавался от него даже вокруг. Взять этот день. Все происходившее сильно отдавало нарочитостью, подстроенностью — эта пивная, и сероглазая красотка, и очень

уж переигрывающая массовка, и театральный, ослепительный солнечный луч, падающий из окна и поджигающий бутылки позади стойки, и сам Франси, сидящий в центре сцены с кепкой на колене и читающий слова своей роли неуверенно и неубедительно, как актер, который знает, что роль ему все равно не дадут. Почему я позволяю себе связываться с такими людишками? (Говорить бы следовало мне, разве не я тут главный актер?) Это правда, я питаю прискорбную слабость к жизни на дне. Во мне есть что-то, что тянет в трущобы, влечет к сомнительным делам, какая-то трещина в составе моей личности, которая хочет, чтобы ее заполнили грязью. Я говорю себе, что подобная склонность к вульгарному присуща всем истинным знатокам культуры, но не могу сказать, чтобы я в это верил твердо. Я изображаю себя здесь как своего рода Кандида, бултыхающегося в грязи среди мошенников и сирен, но боюсь, правда (настоящая правда!) не такова. Меня тянуло к Мордену и его подозрительным картинам, и ко всему остальному, включая даже Франси, как приличную домашнюю хозяйку тянет к себе бордель. Я не добропорядочный человек, никогда им не был и никогда не буду. Эй, люди! Прячьте свои ценности, когда я поблизости, и не забудьте

запереть дочерей. Я — страшилище, являющееся вам в снах, когда вы мечетесь ночью в своих потных постелях. Слышите осторожные шаги? Это я крадусь во мраке там, где погас фонарь ночного сторожа. Ваши часовые спят, ваш привратник пьян. Я совершал ужасные злодейства и могу совершить их опять, я способен на это, я…

Молчи!

Франси собирается сказать что-то еще, но…

Собирался сказать что-то, но что-то изменилось, он замер и остался сидеть вполоборота, глядя в свой стакан с остановившейся, бессмысленной улыбкой.

Господи! Вы только посмотрите на меня, я весь в поту, руки дрожат; не надо бы, право же, не надо было мне так увлекаться.

Когда подошел Морден, я даже не слышал, а только вдруг почувствовал, что он стоит у меня за спиной. Он наклонился к моему уху и притворно угрожающе прошептал:

— За вами ведется слежка, сэр.

Сегодня он был в дорогом пепельно-сером двубортном костюме, пиджак прочно, как грузовой строп, стягивал широкую бычью грудь, и казалось, тяжелый торс совсем неустойчиво держится на этих коротких жирных ножках с несоразмер-

но маленькими, изящными ступнями. В целом он был небольшого роста, ты ведь знаешь, широкоплечий, грузный — это да, но невысокий; я превосходил его ростом дюйма на два. Не то чтобы это имело какое-то значение, я все равно его боялся (знаю, знаю, «боялся» — не то слово, но обойдемся им). И так будет всегда, сказал я себе, впав как бы в задумчивость, возможно, отчасти из-за выпитого джина. Даже если я в каком-то деле возьму над ним верх, в глубине души я не перестану перед ним трепетать. В его присутствии я терял равновесие, все как-то кренилось, и чтобы удержаться на ногах, я должен был стоять под углом к поверхности пола. Впрочем, более или менее так же я чувствовал себя с ними со всеми тремя. Я действительно, на самом деле, был Кандид. Я растерянно пробирался между ними на заплетающихся ногах, смотрел не в ту сторону и, как в страшном сне, не соображал, куда иду, двигаясь наискось по предательской наклонной плоскости их пугающе проницательных взглядов. Ну и дурак же я был. Морден, наверно, за это и любил меня; я служил ему развлечением, грустным клоуном, мальчиком для побоев. Почему я вспоминаю о нем в общем-то беззлобно? Потому что — мне это только сейчас пришло в голову

— он напоминал мне меня самого. Вот так мысль! Я еще вернусь к ней, когда все хорошенько обдумаю. А пока он стоит в роденовской позе, одна рука в кармане, голова запрокинута, и смотрит на меня как бы сверху вниз с высокомерной, льдистой улыбкой.

— Да, — подтвердил он почти радостно, — мы наводим о вас справки, изучаем досье. Франси вот, например, считает, что вы вовсе не подходите. Ему кажется, что он где-то встречал вас раньше, в прежней жизни. Верно, Франси? Есть данные, — проворковал он, заговорщически понизив голос, — насчет кое-каких предосудительных поступков, кое-каких серьезных правонарушений.

И не спуская с меня глаз, рассмеялся весело, словно все это — отличная шутка. Франси молчал, понурив голову, посасывая зуб и вертя стакан в лужице на стойке. Я хочу, чтобы ты ясно представила себе всю сцену: вечер, переполненная пивная, гул разговоров, спирали дыма и пыли в последних солнечных лучах, косо тянущихся над крышами Гэбриел-стрит, и мы трое — единственная безмолвная группа, мы с Франси сидим друг против дружки, почти соприкасаясь коленями, а Морден в непринужденной позе стоит посредине

над нами, одна рука в кармане, как будто у него там пистолет, и любуется своим отражением в засиженном мухами зеркале позади стойки. Ты, конечно, тоже была там, призрачный четвертый участник нашего квартета; я ясно чувствовал твое присутствие. Я ведь уже носил тебя в себе, мой фантом, мое второе я. И все прочее не имело особого значения.

— Ну, что ты скажешь? — обратился Морден к Франси из зеркала. — Он подходит? Потому что если нет… — Он вынул из кармана руку с вытянутым указательным и оттопыренным большим пальцем и, улыбаясь, беззвучно застрелил меня. — Тогда ба-баxx! Вы убиты.

Меня всегда удивляет и радует, что я способен проявить такое присутствие духа перед лицом потрясений и внезапных опасностей. Этими шутливыми угрозами Морден вызвал к жизни мое забытое и похороненное прошлое, оно поднялось и село в своем гробу, чернея глазницами и жутко ухмыляясь, а я преспокойно попивал джин и смотрел в потолок, правдоподобно, как мне представлялось, изображая совершеннейшее безразличие. Не всегда, конечно, это у меня получается, но когда получается, то выходит, на мой взгляд, очень убедительно. По крайней мере

я надеюсь, что так. Франси по-прежнему молчал, и Морден, игриво толкнув меня в бок, заметил: «Шерлок безмолвствует. — Он повел рукой, и в ней очутился стакан с жидкостью, с минеральной водой, он же не пьет, ты помнишь. — Ну что ж, в таком случае дело прекращено!» — Он стукнул по стойке донышком стакана, как судейским молотком. Пес тоже здесь, лежит на полу у табуретки хозяина, передние лапы вытянуты, уши торчком; в позе Анубиса. Вокруг в дрожащем голубовато-пьяном воздухе все выглядит уменьшенным и отдаленным. Морден берет меня рукой-пистолетом за плечо; у него поразительно сильная хватка, я уже говорил, кажется?

— Слушай, — говорит он мне в ухо с фальшивой искренностью. — Ты не бери в голову, мне нравятся самостоятельные мужчины.

Тут все опять смещается, фальшивые стены и потайные комнаты гладко, как намасленные, разъезжаются в стороны, и уже — новый, другой день, мы не там, а где-то еще, солнечный луч сияет так же, но под иным углом и падает не целым столбом, а отдельными золотыми нитями, проникающими сквозь ставни, кажется, или это шторы? На дворе, похоже, бабье лето. Утро, насколько можно судить, тихое и ясное, и все

предметы видятся выставочными экспонатами под чисто промытым стеклом. Мы находимся в гостиной одного из псевдошикарных отелей, понастроенных за последнее время на окраинах нашего квартала, — всюду никель, и светлое дерево, и шершавые запахи дорогих невкусных обедов. Зажав ладони между колен и глядя в пол, я читаю небольшую, изящно построенную лекцию на тему о картинах. Мордену не сидится, он уже начал ерзать в кресле, вертеть головой и нетерпеливо вздыхать. «Да, да, — поддакивает он мне, чтобы я наконец умолк. — Совершенно верно». И затянувшись толстой сигарой, в сердцах разгоняет лапой дым, словно раздирает висящую перед глазами паутину. Но не важно, я как ни в чем не бывало продолжаю. Для тебя не будет новостью, если я скажу, что замечаю в своем характере определенную долю педантизма, который по-своему доставляет мне удовольствие. Он притупляет эмоции, успокаивает страсти. Приятно все разложить по полочкам, факты сюда, умозаключения туда, наметить общее направление, альтернативы, дальнейший ход рассуждений, приводящих к намеченной цели. Возможно, я и вправду несостоявшийся ученый. (Стоит ли говорить, что сам я не придаю веры ни единому своему высказы-

ванию?) Там, в пыльной гостиничной тишине, я, что называлось в старину, размеренным тоном рассуждал о необыкновенной коллекции Джозайи Марбота, ощущая, как на меня нисходит знакомый покой, внутри которого теплится огонек мирного скромного счастья. Я слушал сам себя с удивлением и восхищением. Как будто бы это говорил какой-то чужой голос, а я только служил передатчиком. Это, собственно, и есть все, что мне надо от жизни: присутствовать, отсутствуя. Иногда в общественных местах мне начинает казаться, что, если я остановлюсь и замру на месте, люди смогут преспокойно проходить сквозь меня. Я даже представляю их себе — вон тетка с продуктовой сумкой, вон девушка на велосипеде, они на миг замешкались, перед тем как пройти через меня, вздрогнули, у них мурашки по спине бегут, а я, человек-невидимка, стою себе с улыбкой на устах и только стараюсь не дышать.

— Послушайте, — Морден подался вперед, упершись локтями в подлокотники; колени у него растопырены, лодыжки скрещены, — нам только нужно знать, подлинные они или нет?

И выжидательно раскорячился, словно сердитая лягушка.

Я минуту помолчал для внушительности, а потом своим сдержанным авторитетным тоном заметил ему, что ведь картины-то эти подписаны. Он выгнул бровь. Мне было слышно, как он дышит, тяжело и хрипло втягивая воздух раздутыми ноздрями.

— Из чего следует, — заключил я, — что они либо подлинные, либо подделки.

Он разинул рот и коротко хохотнул, как пролаял.

— Какие же они еще могут быть?

Одно из главных удовольствий педантизма состоит, я убедился, как раз в том, чтобы не показывать своего удовольствия. Негромкая, монотонная, чуть брезгливая речь, равнодушный взор и, конечно, некоторое высокомерие — вот чего надо добиваться. Полотно, написанное в манере Воблена, неспешно пояснил я, даже самая точная копия, не является подделкой под Воблена, если на ней нет его подписи. «Так что, как видите, подпись, — я изобразил в воздухе некий росчерк, — подпись — это все».

Он нахмурился. Мне эти его странные, почти ненавидящие взгляды были неприятны. Теперь-то я понимаю, что просто он так хмурился, чтобы не рассмеяться. Ну и спектакль он устроил! Как

он, должно быть, потешался, изображая из себя простодушного делягу, интересующегося искусством, и все такое прочее.

— Нет! — хмыкнул он, словно откашлялся. — Я скажу вам, что значит — все. Все — это когда видишь подделку, а заявляешь, что это настоящая вещь.

Он еще задержал на мне сердитый взгляд, кивая своей бычьей башкой, а потом откинулся на спинку кресла, сунул сигару в угол рта и принялся разглядывать противоположную стену сквозь густое облако табачного дыма.

— Впрочем, я их все равно, наверно, куда-нибудь отдам, — равнодушно заключил он. — Может, в галерею какую-нибудь. — От этой мысли в его скучающем взоре вдруг взблеснула искра: «Коллекция Мордена»! — Просто мне… — Он сделал неопределенный жест и отпил минеральной воды, вернее, нет, затянулся сигарой. — Мне просто… — Он снова сердито нахмурил брови. Пес пристально наблюдал за ним, по-видимому, ожидая от него в любую минуту какой-нибудь удивительной или злобной выходки.

— …интересно, — сухо произнес Франси, и мы с Морденом оба удивленно обернулись и уставились на него с недоумением, словно он

— иностранец, внезапно заговоривший на нашем языке. У Франси был вид скучный и скептический. На губе презрительно болтался окурок. Франси и его окурки, его кепка и собака. Морден откашлялся и громко подтвердил:

— Вот именно что интересно. — Он сверкнул на меня глазами, как будто я сейчас начну ему возражать. — Хочу знать, и все. Если подделка, значит, подделка.

Поверил ли я ему? Я много раз задавал себе этот вопрос, катаясь по полу тюремной камеры моего страдания и позора в первое время после того, как рухнуло все мишурное сооружение. Без толку, разумеется; веришь или не веришь — тут ни при чем. Вера, доверие, подозрение — это химеры, возникающие задним числом, когда оглядываешься с высоты понимания, что ты обманут. А тогда я продолжал неуверенно двигаться дальше, как пьяный канатоходец, старающийся сосредоточиться и не упасть, хотя вокруг все отвлекает внимание: мимо проносятся гимнасты на трапеции, а внизу на арене кувыркаются клоуны. Ну конечно, я с самого начала чувствовал, что тут что-то не так, — но бывает ли иначе? Куда ни сунь нос, всюду пахнет кровью и слизью. Иной раз я перехватывал взгляд которого-нибудь из

них, включая собаку, и прочитывал в нем недоумение: как это я до сих пор не догадался, в чем дело? Я как будто бы застиг их в разгар попойки, и они, на минуту отрезвев, стоят с постными физиономиями, поджав губы и надув щеки, и стараются не смотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться. Случалось, я выходил из комнаты, где они находились, и мне мерещилось, что они у меня за спиной, положив руки друг дружке на плечи, разражаются неудержимым хохотом. Да только я отмахивался… Но зачем терзать себя? Какое это теперь имеет значение? Разве мука утраты тебя — не достаточно жгучее адское пламя, чтобы мне еще совать пальцы в золу? Но ведь больше у меня ничего нет, ни связки писем, ни локона в ладанке, а лишь эти мысли, которые я без конца кручу в голове, точно мясо на вертеле (ich brenne in dir[3]…). Глупый и жалкий бедняк мистер Панч с подбитым глазом и с разбитым сердцем, сутулящий спину под бременем позора. Я представляю себе, как я сижу в отеле, или где мы в тот день расположились, и рассуждаю о приемах определения места и датировки, об истории масляных красок, о необходимости тщательного

[3] Примечания: 3

«Я сгораю в тебе» *(нем.)* — фраза из последнего стихотворения Р. М. Рильке, сохранившаяся в его дневнике.

сопоставления мазков, и ежусь от стыда, как устрица от соли. Почему я так легко поддался обману? Ответ, конечно, напрашивается сам собой: да потому, что я хотел обмануться. Бух! Я колочу кулаками об пол камеры и — бух! — лбом тоже. Бух! Бух! Бух!

Сколько я тогда говорил! Когда я вспоминаю то время, там все происходит на фоне беспрерывного гудения — это немолчный звук моего голоса. Сознание собственной вины, я имею в виду вину непреходящую, неискупимую, до конца жизни, делает из человека мрачного шута. Вину представляют как что-то весомое, говорят о бремени вины, о том, что она гнетет, но, по моим сведениям, это не так: вина легче воздуха; она наполняет вас, как воздушный шар, и вы взлетели бы, болтая руками и ногами, комичный Грок, если бы не держались за предметы. Уже много лет речь — моя привязь и мой балласт. Стоило мне завести свой самообразовательный монолог, и меня уж было не остановить. История искусства, биографии художников, художественные мастерские XVII века — в моем распоряжении был неисчерпаемый запас тем. И все — единственно для того, чтобы задавить в себе упорно всплывающие пузыри панического, раздирающего адского

смеха, гогота проклятых. Вот почему меня было так легко одурачить, так просто водить за нос — я все время думал о другом, боролся мысленно с учеными, тяжелыми словами, которые, достань у меня смелости произнести их вслух, вызвали бы у тебя недоумение, а затем и смех. Кара. Искупление. В таком роде. Я же все еще обретался в аду или, по меньшей мере, в чистилище, а ты была одной из избранных, которые прогуливались в золотом сиянии по елисейским полям, и я, тоскуя, исподтишка засматривался на вас.

Но постой, это ведь не совсем правда, то есть правда, но не полная, и производит чересчур благоприятное впечатление. Эти выспренные слова… Да ладно, оставим это. Осточертело.

Внезапно Морден резким вывертом руки раздавил свою на три четверти не докуренную сигару, энергично встал, всполошив пса, и сказал:

— Пошли прокатимся.

Я взглянул на Франси, но он только пожал плечами, покорно поднялся и потащился вслед за Морденом, который был уже на середине зала. Сероглазая девица огорченно улыбнулась мне и посмотрела в сторону. И вот уже дверь пивной, то есть я хочу сказать — двери отеля, вращающиеся двери отеля «Святой Гавриил» со вздохом

выставили меня на тротуар, залитый бодрящим солнцем сентябрьского утра.

Автомобиль Мордена, низкий черный зверь, дожидался, брошенный на двойной желтой линии позади отеля в переулке, звеневшем архаическими возгласами торговцев и разносчиков. На ветровом стекле был налеплен штрафной талон. Морден смял его и выбросил комок в канаву, откуда Франси его немедленно достал. Это выглядело как привычная процедура. «Я поведу», — сказал Морден и включил зажигание, не успели еще мы забраться в машину. Я сел на переднее сиденье, Франси развалился на заднем вместе с Принцем, который сидел, навострив уши и дыша мне в затылок. Мы поехали по мелькающим улицам. Морден гнал машину с рассеянной яростью, выворачивал баранку, знай давил ногой то на газ, то на тормоз. Река, потом зеленые проспекты, потом канал и, наконец, широкое бетонное шоссе, тянущееся длинной дугой между мрачными жилыми кварталами. Морден указал в окно: «Тут в мои годы были поля». И мы понеслись дальше по печальной густо заселенной равнине под высокими, блеклыми, голубыми небесами. Сзади меня пес, тихонько скуля, провожал глазами пролетающие просторы.

Мы уже почти выехали за город, когда Морден вдруг притормозил и свернул на улицу бедного поселка. Покрутившись на большой скорости по лабиринту проездов и улочек, он остановил машину в том месте, где дорога пошла под уклон между забором, за которым стояли однотипные дома, и серым, унылым школьным зданием, торчащим посреди широкого, голого школьного двора. Поднялся ветер, солнечный свет помутнел, стал молочным. Мы сидели и молчали. Морден, отвалившись на спинку, с мрачным видом глядел по сторонам. Дома, дома, ряды домов, жалких, неприглядных. Пес облизывался и трепетал в предчувствии, пока наконец Франси, кряхтя, не нагнулся и не открыл ему дверцу. Пес пулей выскочил из машины и понесся прочь через школьный двор, держа нос к земле. Морден тоже вылез и осматривался, щурясь. Я хотел было выйти вслед за ним, но Франси сзади придержал меня за плечо и сказал: «Погоди-ка». Мы остались сидеть в машине и слушать, как вверху в проводах свистит ветер и в отдалении хрипит и бренчит радио. Морден перешел через дорогу, двинулся вдоль забора, остановился в нескольких шагах, вошел в калитку и постучал в узкую матовую стеклянную дверь. Она сразу же открылась, слов-

но управляемая на расстоянии. Оглянувшись один раз через плечо, он вошел в дом. Теперь и я беспрепятственно вылез из машины и стал, как только что Морден, осматриваться по сторонам, загородив от света глаза. В воздухе стоял тот особенный запах, который издает бедность, — смесь нестираного белья, пропитанных мочой тюфяков и спитого чая. На край противоположного тротуара выехал малыш на трехколесном велосипедике и медленно, неуверенно свалился в придорожную канаву. Открылось окно верхнего этажа, высунулась краснолицая тетка и с интересом, даже с вызовом посмотрела на меня. Дитя в канаве заплакало, заскулило негромко, прерывисто. Вслед за мной выбрался на воздух и Франси и встал, прислонясь к капоту машины, скрестив руки и лодыжки. Дверь, за которой скрылся Морден, опять отворилась, появился коренастый молодой здоровяк, кривоногий и короткорукий, и двинулся по дорожке. Он был рыжий, коротко стриженный, нос вдавлен, в одном ухе серьга в виде распятия, одет в трикотажную фуфайку и защитные брюки и обут в высокие шнурованные башмаки. Остановившись у калитки, он сложил коротенькие ручки на груди и устремил холодный взгляд на меня. Я

повернулся к нему спиной и перешел на школьный двор. От выпитого джина ноги меня держали нетвердо. В окно школы было слышно, как дети нестройным хором повторяют таблицу умножения на два. Грустно и одиноко чувствует себя человек, болтающийся на улице без дела, когда дети сидят на занятиях; нет места пустыннее, чем школьный двор во время уроков. За школьным двором по склону холма поднимался луг, ветер клонил пожухлую жесткую траву, поблескивающую на присмиревшем солнце. Вдалеке виден был носящийся широкими кругами Принц, а еще дальше скакал плавным галопом мальчик на пегом коньке без седла. Внезапно, бесшумно рядом со мной очутился Морден — удивительно, как тихо передвигался этот человек, несмотря на свой основательный вес, — он задумчиво покачивался с носка на пятку, задрав голову и расширив ноздри, словно ловил какой-то запах, возможно, запах былого. Я поинтересовался, просто чтобы не стоять молча, не в этих ли местах он родился? «Здесь? — переспросил он и засмеялся. — Ну уж нет! — Он посмеялся еще. — Я нигде не родился». И со смехом тряся головой, пошел обратно к автомобилю этой своей изящной семенящей походочкой, пригнув голову и засунув руки в

карманы, а ветер трепал и надувал его штанины. Я еще немного помедлил там, глядя вдаль и не думая ни о чем. Мальчишки на лошади уже не было. У меня за спиной Франси длинно, переливчато свистнул, и пес, немедленно прервав свой бег по кругу, примчался к нему вприпрыжку, а на меня даже не взглянул, пробегая. Плывущее облако затянуло солнце, через поле ко мне побежала волнистая тень, и мне вдруг стало страшно, сам не знаю чего; просто я ощутил огромность мира и бездонность неба, и тень облака, которая сейчас накроет меня, неосязаемая и неотвратимая, как судьба. Больше всего я боюсь не крупных происшествий, когда например, автомобиль теряет управление или у самолета отваливается шасси, а вот таких заурядных моментов, когда вдруг оказываешься вне игры и земля уходит из-под ног, а ты стоишь и с ужасом смотришь в пустоту, похоже на персонаж из мультфильма, который уже добежал до края пропасти, но продолжает бежать по воздуху и не падает, пока не замечает, что под ногами ничего нет, а далеко внизу — дно каньона. Я заторопился обратно к машине и вернулся чуть ли не бегом. У ворот рядом с коротконогим амбалом теперь стоял еще один субъект, нездорового вида, толстый и фантастически

одетый в красные домашние туфли и во что-то наподобие шотландской клетчатой юбки, а на плечах — плед с кистями, плотно окутывающий большое брюхо и переброшенный через плечо, точно древнеримская тога. Вздернув бровь, он, кажется, внимательно рассматривал именно меня. Когда мы отъезжали, он выпростал из-под пледа пухлую ладонь и двусмысленно покачал жирным указательным пальцем, не то грозя, не то прощаясь. Ни Морден, ни Франси ему в ответ не помахали. «Ну и ну! Родная мать не узнает», — скупо усмехнулся Франси. Я спросил, кто это, но не получил ответа. Морден с брезгливым раздражением смотрел в пол. В канаве все еще сидел малыш возле своего велосипеда и тихо скулил.

За руль на этот раз сел Франси, рядом — пес на страже, и мы с Морденом сзади. Морден молчал, погруженный в себя, опустив подбородок на грудь и плотно скрестив руки, будто в смирительной рубахе. А я, о чем я в эту минуту думал? По-прежнему ни о чем. Как странно, правда? Не перестаю удивляться своей способности к совершенно пассивному участию в происходящем, если, конечно, это можно назвать участием. Словно присутствие само по себе есть как бы действие по инерции и никаких иных усилий не

требуется. Чтобы осмыслить течение событий, которое несло меня с собой, как бегущая вода несет случайный листок, мне надо было бы все остановить, выйти вон из картины и рассмотреть ее, стоя в стороне, на некоей воображаемой архимедовой площадке в пространстве и воспринимая зрелище как единое целое. Но нет ничего единого и ничего целого. Вот почему, наверно, я в глубине души так и не смог до конца уверовать в существование реальности, как ее описывает физика со своими мгновениями неподвижных и ясных прозрений; ведь невозможно сделать срез живого и движущегося мира, поместить его между стеклами под микроскоп и тихо, спокойно рассмотреть. Какое там! Все течет, все, что есть, находится в неостановимом движении. Как это страшно, если подумать. Но еще страшнее отстать, оторваться от этого движения. Речь — один из способов зацепиться и не остаться позади. Именно этим я и занят. Если бы я остановился, я бы… остановился.

На стенде у газетного киоска жирные заголовки полуденного выпуска оповещали о первом убийстве.

— Ай-яй-яй, как нехорошо, — сказал Морден. — Просто ужас. — Он откинулся на спинку сиденья

и задумчиво посмотрел в потолок. — Как звали того парня, что выкрал картину у Бинки Беренса и убил горничную, когда она с ним случайно столкнулась? — Мимо проносились магазины, фургоны, собаки, изверившиеся женщины с детскими колясками; как плохо я знаком с тем, что называется действительностью. — Лет десять-двенадцать назад, — уточнил он. — Неужели никто не помнит?

Я не отводил глаз от мелькающих улиц; меня так влекут к себе дела мирские.

— Фамилия начинается на «М», — напомнил Франси; плечи у него тряслись.

— Точно! — подхватил Морден. — Что-то вроде Монтегю. Или Монморенси. В таком роде.

Он легонько постучал пальцем по моему колену.

— Не припомните? Нет? Вы, наверно, были в отсутствии — вы ведь долго отсутствовали, верно? — Он задумался, притворился, будто думает. — Вермеер, кажется, это был. Или Метсю. Либо тот, либо этот. *«Портрет женщины».* Прекрасная вещь. Ударил ее молотком по голове, шмяк, и готово. — Он снова обернулся ко мне. — Бывали когда-нибудь в «Уайтуотер-Хаусе» у Беренса? Шикарная коллекция. Какие картины! Обязательно

съездите, выберите денек. Уйма впечатлений. — Он выпрямился на сиденье вполоборота ко мне и, критически оглядев меня, сказал: — Бледный ты очень, вот что. Сидишь взаперти в четырех стенах, куда это годится?

Я принялся рассказывать им про тетю Корки, про ее прошлое и настоящее, про дом для престарелых, про Хаддонов. Бла-бла-бла-бла. Почему тетя Корки? Вообще в моем распоряжении мало тем для разговора. Морден меня не перебивал, а когда я добрался до точки, он воодушевился, стал потирать руки и объявил, что хочет с ней познакомиться. «Франси, — крикнул он, — поворачивай машину!» От моих неуверенных возражений он просто отмахнулся. Ему было весело. Скоро мы уже катили вдоль берега моря. Был отлив. Солнце ослепительно сверкало на обнажившемся топком морском дне и на ярко-зеленых разбросанных кучках водорослей. На торчащей ржавой железяке стояла цапля, едва удерживая равновесие распростертыми крыльями. «Красуется», — сказал Морден и засмеялся. Впрочем, вскоре настроение у него снова испортилось. Он стал жаловаться на судьбу. «У меня нет никого родных, — вздохнул он. — Настоящих родных — теток там, дядьев, братьев, в таком

духе». Он резко обернулся ко мне, сдавил мне пальцами, к моему страшному испугу, запястье и вопросительно заглянул мне в лицо. «А у вас есть брат?» Я отвел глаза. Да, он совсем как я, сентиментальный и агрессивный. Ужас какой-то. Франси опустил стекло, выставил наружу локоть и принялся насвистывать. Машина взяла подъем и наконец остановилась у ворот «Кипарисов». «Это здесь?» — спросил Морден, вглядываясь. Я представил себе, какое лицо будет у Хаддона, когда к нему заявится Морден и громким голосом спросит тетю Корки. Но Морден уже утратил интерес к моей тетке, он сидел, снова уйдя в себя, хмуря брови и уставясь в пространство невидящим взглядом. Однако, когда я вздумал было выбраться из машины, он снова цапнул меня за руку и второй раз спросил, нет ли у меня брата. Нет, ответил я, стараясь освободить запястье, у меня вообще нет родных. «А сестра? Сестры тоже нет? Вообще никого? — Он кивнул. — И у меня тоже никого. Круглый сирота».

Он отпустил мое запястье, махнул рукой, я выкатился из машины, и они, взревев, умчались прочь. Я, моргая, остался стоять на месте. Меня словно взяли, встряхнули хорошенько и отбросили за ненадобностью.

Тетя Корки была религиозна. Она сидела в постели, одетая в больничное тряпье, и упоенно разглагольствовала о Боге, спасении и об отце Фаннинге (с которым нам вскоре предстоит знакомство, как я понимаю). Мне было безразлично. Голос ее действовал успокаивающе. Мне хотелось заползти к ней под одеяло и просить у нее защиты. Я задыхался, дрожал, у меня подкашивались ноги, будто я только что одним броском достиг конца каната и теперь, весь в поту, стою, вцепившись в усыпанную блестками стойку, а внизу зияет огромная, душная пустота, и рано или поздно мне придется пройти по канату обратно, туда, где дожидается Морден в трико акробата и в мягких блестящих сапогах, и с шальной, бесшабашной усмешкой на губах; все это будет, но еще не сейчас. Поднос с теткиным завтраком стоит на тумбочке у кровати: каша в миске с гнутой ложкой, пустая чашка на блюдце не в цвет, обгорелый кусочек тоста. Она смолкла, но я даже не заметил этого. Я вдруг совершенно изнемог. Она внимательно пригляделась ко мне.

— Эй, — окликнула она меня и ткнула пальцем под ребра. — Что это с тобой? Привидение увидел?

Тетя Корки была права; мне явился восставший

из мертвых, такой знакомый призрак прежнего меня. О, если бы существовала какая-то законная процедура для изменения прошлого.

3. ПИГМАЛИОН (название полотна — Пигмалион и Галатея), 1649 Джованни Белли (1602–1670)

Масло, холст, 23 х 35 дюймов (58,4 х 89 см)

Белли примечателен тем, что представляет обратное направление миграции художников, это итальянец, переселившийся на север. Родился в Мантуе; известно, что в юности несколько лет проходил учение в Риме, возможно, что в мастерской Гвидо Рени (1575–1642), чье влияние, не вполне положительное, ощущается в работах младшего художника. Затем имя Белли встречается в каталоге торговца картинами Верхейдена из Гааги, датированном 1640 годом, здесь он значится как «Joh. Belli ex Mantuva, habit. Amstelodam»[4]. Что побудило этого во всех отношениях типичного итальянца (южанина, католика, одержимого идеей смерти) обосноваться в Нидерландах, неясно. Бесспорно однако, если судить по его работам, отличающимся тщательной проработкой и блестящей текстурой, а также мистической, можно

[4] Примечания: 4
Йог. Белли из Мантуи, прожив. в Амстердаме *(лат.).*

даже сказать — зловещей атмосферой, привело его на север отнюдь не восхищение полотнами гениальных голландских мастеров Золотого века. Он — анахронизм, может быть, отчасти даже абсурд в истории живописи, человек без родины, шагающий не в ногу со своим временем, изгнанник в чужой стране. Его работы несут на себе печать самоуглубления и отрешенности, характерных для того, кто отгородился от окружающего и знакомого и безнадежно тянется к тому, что оставлено и утрачено. Его интерес к теме смерти — или, вернее, как выразился один критик, к теме «жизни в смерти» — проявляется не только в гнетущих, мрачных сюжетах, которым он отдает предпочтение, но также и в его упорных поисках покоя, незыблемости и какой-то почти неземной роскоши, — увлечение, которое, парадоксальным образом, придает его работам характер тревожный, даже лихорадочный, недаром их чаще всего описывают — неточно, разумеется — эпитетом «готические». Такое постоянное устремление в трансцендентность приводит к манерности и вычурности стиля, так что суждение Гомбриха о творчестве Гвидо Рени — что «поиски чистой красоты делают его работы чересчур нарочитыми и головными» — вполне приложимо и

к ученику Рени. На полотне «Пигмалион» эти свойства — самоуглубленность и жажда чистоты, как в форме, так и в содержании — выступают особенно ясно. Нас с первого взгляда поражает та смелая проекция, в какой художник расположил на полотне ложе Пигмалиона и его оживающей изваянной возлюбленной. Этот большой красный параллелограмм пересекает картину наискось от нижнего правого до верхнего левого угла и порождает прямо-таки устрашающее ощущение массивной асимметрии, при первом взгляде кажется, будто комната, в которой смотришь на эту картину, внезапно перекосилась. Изжелта-бледное тело пробуждающейся статуи на фоне кроваво-красного покрывала видится как символ покорности: здесь Галатея (это имя, кстати, не фигурирует в классической литературе ни в одной из версий мифа, по-видимому, его присочинил кто-то из мифотворцев Ренессанса) — скорее жертва, чем объект любви. Как поразительно самозабвенно и в то же время кротко она лежит, вся открытая взгляду, распростершись на спине, согнув левое колено, так что видно место, где гладкий камень переходит в живую складку, а правая рука, еще бескровная, с тонкими узкими пальцами, откинута в сторону. Первое ли ды-

хание жизни так раскинуло члены богини или же это пароксизм плотского наслаждения, уже испытываемого полуожившей девой, и притом впервые? И склонился ли над нею Пигмалион, чтобы внимать ее любовным вздохам, или, наоборот, приподнялся в страхе перед силой внезапно им разбуженной страсти? Странное положение его ладони — он сдавил ее правую грудь — вполне может быть истолковано и как проявление страха, и как жест желания. Точно так же и подношения — раковины, камешки, убитые певчие птицы, разноцветные флаконы и капли амбры, разбросанные у ложа, кажутся не столько подарками, которым, по выражению Овидия, «радуются девы», сколько обещанными приношениями на алтарь беспощадного божества. С какой тщательной точностью художник воспроизвел все эти пустячные вещички, он словно и в самом деле жертвует их Венере, чье огромное нагое тело нависает над ложем, умаляя фигуры любовников. В этом изображении богини, равнодушной, мраморной и матерински сладострастной, ясно чувствуется влияние маньеристов, в особенности — Бронзино, таких его работ, как полотно: «Венера Купидон, Заблуждение и Время». Общий тон сексуальной двусмысленности подчеркнут

тремя пляшущими язычками пламени погребального жертвенного костра на среднем плане в правом верхнем углу сцены. Как бы ни были они сомнительны с точки зрения вкуса, тем не менее именно в таких тонких деталях, а не в крупных чертах этой фантасмагорической, напоенной смертью картины вечные старания Белли, говоря опять же словами Гомбриха, «найти формы, более совершенные и более идеальные, чем реальность, вознаграждаются успехом».

~~~

В произведении искусства меня сильнее и непосредственнее всего трогает качество его тишины. Это не просто отсутствие звука, а действенная сила, выразительная и властная. Тишина, излучаемая живописным полотном, становится как бы его аурой, которая одевает и само полотно, и того, кто на него смотрит; это своего рода цветовое поле. И потому, что меня больше всего поразило в той белой комнате, когда я взялся за картины Мордена и начал рассматривать их одну за другой, был не цвет, и не форма, и не передача движения, а то, как каждая из них умножала тишину. Скоро уже вся комната пульсировала их безмолвным красноречием. Пульсировала и гудела, ибо этот пышный, неслышный шум, которым они наполняли комнату, как воздушный шар наполняется сгущенным воздухом, не приносил покоя, он, наоборот, возбуждал во мне трепетное предчувствие, волнующее, захватывающее ожидание, тем более напряженное, что ожидать было как будто бы совершенно нечего. За работой я разговаривал сам с собой, не вполне
~~~

даже отдавая себе отчет в том, что разговариваю; на разные голоса тихонько разыгрывал какие-то диалоги, и когда заканчивал рабочий день, в голове у меня стоял разноголосый звон, словно я с утра находился в толпе болтливых, беззлобных безумцев. И сама комната тоже сбивала с толку своей странной формой в виде узкого клина с единственным квадратным окном в широкой стене и невидимой дверью. Удивительно, что я не сошел с ума в тот первый период полного одиночества и неотступной сосредоточенности (а может быть, сошел?). Я мог бы работать где-нибудь в другой части дома, там имелось много больших просторных помещений, но мне даже в голову не пришло перебираться отсюда. С помощью Франси (который держался не слишком любезно) я перенес из кухни наверх старый сосновый стол, навалил на него нужные мне книги, справочники, а также порошки, растворы и реторты (это я сочиняю) и, раскрыв зеленый клеенчатый футляр, разложил в ряд орудия моего труда: пинцеты, ножички, скребки, скальпели, тонкие кисточки из собольего волоса, лупу и окуляр ювелира; быть может, как-нибудь в другой раз я напишу небольшую оду во славу всех этих дивных инструментов, которые служат мне

неисчерпаемым источником удовольствия и утешения. Словом, вот я, за работой, совсем как во дни моей пылкой, если не золотой юности, когда мне нравилось изображать из себя ученого. Тогда это были науки, теперь — искусство.

Я многое обдумал со времени твоего исчезновения и пришел к некоторым заключениям. Во-первых, моей погибелью было то лучезарное флорентийское утро, на заре Раннего Возрождения, когда зодчий Брунеллески раскрыл своим товарищам живописцам неведомые до тех пор законы перспективы. Моральной погибелью, я имею в виду. Тысяча примерно лет до этого эпохального события представляется мне временем глубокого, беспробудного сна, когда всякое движение шло по замкнутой кривой со скоростью ледника и будущее было не более чем повторением прошлого; одним долгим зависшим мгновением беззвучия и круговращения между шумным концом классического мира и первыми судорогами так называемого Ренессанса. Я рисую себе нечто вроде мглистой северной Аркадии среди густых лесов, в клубах тумана, в тишине, в самом сердце мерцающей, ледяной, вечной ночи. Какая тишь! Какой покой! А затем наступила та звонкая заря, когда великий зодчий раскрыл

свой ящик с чудесами, и Мазаччо (которого современники очень удачно и проницательно, на мой взгляд, звали Неуклюжий Томмазо) с подручными схватился за голову: как же это они проявили такую близорукость? Принялись чертить сходящиеся линии и все испортили, заразив мир химерами прогресса, усовершенствования человека и всего такого прочего. Очарование скоро сменилось разочарованием; вот, вкратце, и вся история нашей культуры. Да, нечем похвалиться. Ну а уж что до Просвещения… Как можно ждать от человека, вскормленного, как я, всей этой дичью, что он сохранит здравый рассудок?

Но как бы то ни было.

В первые дни в той потайной комнате я, заблудившись в родных дебрях потустороннего мира искусства, был счастлив, как никогда прежде, сколько могу припомнить. Я блуждал, не зная дороги, но в то же время гораздо живее ощущая и себя, и все вокруг, чем в какую-либо другую пору моей жизни, отложившую отпечаток в моей памяти. Все было полно значения и смысла. Я уподобился так называемой животной твари, замершей на краю открытой равнины, — все чувства чудесно обострены и распахнуты ветрам мира. Каждое полотно, которое я поднимал и

клал под увеличительное стекло, служило мне предвестием того, что должно случиться. А то, что должно было случиться, хотя я еще этого и не знал, была — ты и все, что с тобой связано.

Или, может быть, знал?

Разглядывая эти картины, не высматривал ли я в них всегда один только грядущий образ — твой, одну искру, движущуюся на меня из точки, где сходятся линии перспективы?

Я в глубине души — неисправимый романтик. Мне очень хотелось верить в Джозайю Марбота, самоуверенного авантюриста, который сразу замечал своими глазами-бусинами и спешил захватить неучтенные шедевры. Чем ближе я знакомился с картинами, тем яснее чувствовал, что заодно знакомлюсь и с ним (возможно, что он и был моим собеседником в разыгрываемых диалогах), с его язвительным юмором, и пристрастием к гротеску, и скромными манерами, за которыми пряталась неумолимость страстного коллекционера. Я почти воочию видел его — худой, высокий старик во фраке и широком галстуке, он с наступлением темноты, сутулясь, медленно обходит дом, одной рукой опираясь на трость с перламутровым набалдашником и заложив за поясницу другую руку со скрючен-

ными подагрическими пальцами. Гноящиеся глаза его все еще зорки, углы рта опущены (зубов давно нет), нос узкий и тонкий и бескровно, мертвенно бледный, как здешние пересохшие белые стены. Вот он останавливается у окна, слуга со свечой проходит вперед, окруженный пляшущими тенями, а он глядит вниз в тесный переулок; булыжники мостовой лоснятся под моросящим дождем, со скрипом и цоканьем проезжает карета, лошадь мотает головой; а ему вспоминается другой переулок на lie de la Cit'e. Тридцать лет назад; тогда тоже уже почти наступила ночь, и под низким закопченным потолком полупьяный торговец вынес что-то замотанное грязным тряпьем и, нежно бормоча и целуя кончики пальцев, словно предлагая богатому милорду одну из своих дочерей, восклицал: Vaublin, m'sieur, un vrai Vaublin![5] Я думал про его страсть к картинам — или по крайней мере к собиранию их, — как о чем-то слегка непристойном, вроде тайного порока. Представлял себе, как он рыщет по картинным галереям, словно по тогдашним большим борделям, горя в лихорадке похоти и стыда, запинаясь, высказывает желание

[5] Примечания: 5
Воблен, месье, настоящий Воблен *(фр.).*

чего-то иного, особенного… Вкусы его лежали, конечно, в области сомнительного и уродливого, однако радости, которые он себе покупал, имели вид вполне приличный — во всяком случае, что касалось техники, — словно горбатые и трехгрудые продажные девки, наряженные в шелка и кринолины.

Но что на самом деле я видел в этих картинах, какие чувства испытывал? (Я сижу тут со снисходительной полуулыбкой на губах, точно судья, выслушивающий горячие — и саморазоблачительные — сбивчивые оправдания олуха-подсудимого.) Откуда мне знать наверняка, какие чувства я испытывал или не испытывал? Настоящее мгновение оказывает преображающее воздействие на прошлое, исподволь и постоянно. То время, хотя совсем недавнее, кажется мне сейчас необозримо далеким, это — эра до грехопадения, залитая медвяным светом и полнящаяся медленной музыкой одиночества. Отдавался ли я созерцанию картин с чувством внутреннего сокрушения, с каким должно восприниматься великое искусство? Возможно. По правде сказать, мне было немного жутко, оттого что они взирали на меня с другого конца комнаты, как прислоненные к стене загипно-

тизированные кататоники. Но дело в том, что я никогда прежде не находился в такой близи от произведений искусства, никогда не пользовался в общении с ними такой свободой, не мог позволить себе таких вольностей. Я словно пробился в иную реальность, в иное, прежде немыслимое измерение знакомого мира. Это было как… да, что-то в этом роде, по-видимому, подразумевают, когда говорят «любовь». Взять одно из этих поразительных созданий, положить на стол в белой комнате и приступить к работе над ним с пинцетом и лупой — было все равно что обрести право проникновения в самые сокровенные глубины священного предмета. Вот это — поверхность, записанная художником, говорил я себе, а это — мазки красок, наложенные им; где-то в их наслоениях могли до сих пор сохраниться отдельные атомы, которые творец выдохнул три с половиной века назад, упоенно склонившись над своим холстом в мансарде с протекающей крышей на какой-то грязной улочке Антверпена или Утрехта под небом, заполненным высокими нагромождениями кучевых облаков. Так мне это все представлялось и так я думал; неудивительно, что когда я отступал на шаг и тер глаза, сначала я ничего перед собой не различал. Я был как

любовник, восторженно и немо любующийся любимым лицом, но видящий не его, а свою мечту о нем. Ты была этими картинами, и эти картины были тобой, а больше я ничего не замечал. Теперь мне все понятно — но *тогда*… ах, любовь моя, *тогда!* Ты ведь видишь, в чем моя трудность: сам гротеск в окружении гротескных предметов, я был счастлив и не желал ничего больше, только бы длилось незыблемо мое мирное одиночество, населенное фантасмагориями; то есть не желал ничего больше до тех пор, пока ты вдруг не ожила и не выступила из рамы.

А случилось вот что. Я сейчас опишу, как это было в первый раз. То есть не в первый раз, а в первый раз, когда ты когда я когда мы… Словом, вот.

Но, с другой стороны, что, собственно, тогда случилось? Ничего. Ничего такого, о чем можно было бы говорить, что можно вразумительно выразить словами. Утро. Осень уже в полном разгаре. Солнечный бронзовый свет ложится на лица домов, загустевший, тихий, ясный воздух словно ускользает в прошлое. Тишина. Только изредка взревет где-нибудь на набережной мотор автобуса да еще, уж совсем вдалеке, нестройно затренькают колокола кафедрального собора

— верно, ученик звонаря упражняется в гаммах. Я сижу за столом и рассматриваю каталог большой Вашингтонской выставки Воблена, альбом раскрыт на довольно скверной репродукции «Свежевания Марсия»: на переднем плане веселятся пейзане, а черное дело делается дальше, в уменьшенном масштабе, под сенью рощи. У меня болит голова, боль стучит где-то внутри, размеренно, тихо и упорно. Поднимаю глаза от книги — передо мной в окне стоит столбом серебристо-белое пухлое облако Магритта, широко раскрыв мне свои объятия. Из безмолвия возникаешь ты. Я так себе это представляю: тишина в комнате каким-то образом материализовалась в тебя и придала тебе реальные очертания. Я почувствовал твое присутствие, прежде чем раздались шаги. Все сдвинулось, будто какой-то паровоз беззвучно перешел совсем на другие рельсы, и я в недоумении оглянулся. Рассказывают, что за секунду до удара молнии камни и деревья вокруг начинают гудеть. На тебе было надето… что было на тебе надето? Легкое платье из хлопка или льна в мелкий цветочек, с поясом и широкой юбкой; погода еще позволяла носить летние платья. И лодочки, черные туфельки-лодочки с черными атласными бантиками на подъеме. И никакой

косметики на этот раз, по крайней мере я ничего не заметил, и поэтому казалось, будто черты лица немного размыты, словно я смотрю на нее сквозь легкую, солнечную дымку. Удивительно было то, что мы ничуть не удивились. Будто так и должно быть, будто мы встречаемся тут каждое утро вот уже целый месяц. Она нагнулась у моего плеча, и я услышал хрипотцу ее дыхания. И ощутил ее запах. Собственно это и был первый настоящий признак ее присутствия, запах. Чуть кисловатый, чуть пряный и немножко жгучий, как ожог крапивы; мои слюнные железы немедленно заработали. Пахло разными детскими запахами, пляжем, партами в классе и еще чем-то, не знаю, чем, сырым и дразнящим — наверно, просто телом, — и я сразу с набухающей жадностью подумал о солнечных ожогах, и об обмороженных пальцах, и о нежных, розовых краях твоих ноздрей, когда у тебя был насморк и ты трое суток не давала мне до себя дотронуться (знаю, знаю, все не в том хронологическом порядке). Еще и теперь бывает, что я вдруг застыну как дурак с разинутым ртом, когда на меня пахнет этим смешанным телесным духом — должно быть, следы его сохранились где-то в пустотах моего черепа. Если бы можно было как-то выделить их и химик-

колдун клонировал бы из них твою генетическую модель, во всем абсолютно такую же — за исключением одной — главной — подробности. Ты заинтересовалась, что изображено на картине в книге, которая лежала передо мной раскрытая, а когда я объяснил, с отвращением поморщилась и скривила губы. Бедный Марсий; поют хвалы Аполлону, но мне больше по сердцу Дионис. Она отошла к окну, прижалась к стеклу лицом и стала смотреть вбок на что-то, видное ей одной. Это спокойствие, эта кошачья сосредоточенность — где-то я уже видел любимое существо в такой же позе? Потом она повернулась спиной к окну и села на подоконник, прижав локти и вывернув наружу запястья (о Господи, эти нежные голубые жилки), балетным носком одной ноги упираясь в пол, а другую неспешно раскачивая и с каждым взмахом на миг обнажая до середины белое бедро. Я не могу видеть Бальтхуза, любое полотно Бальтхуза — эти его осенние тона, это характерное скучливое бесстыдство, чтобы не вспомнить А., как она сидела в тот день в окне, чуть приоткрыв рот, слегка нахмурив брови, углубленная в себя, с тем неотразимо бессмысленным выражением, какое ее лицо всегда принимает, отдыхая. Что я при этом думал, что чувствовал? Я ждал, не могу

сказать, чего именно, просто ждал, пока гипнотический маятник ее качающейся ноги отмерял медленные, набухающие секунды. Она была так бледна. Черные волосы висели у склоненной щеки, словно подстриженное смоляное крыло. Лицо ее я видел нечетко, потому что свет падал сзади. Изменилось ли направление ее взгляда? Смотрела ли она теперь на меня? Время шло. Наверно, мы о чем-то говорили или, во всяком случае, обменивались фразами, не могли же мы просто сидеть и молчать, но если и так, я все равно ничего не помню. Помню только внешний вид предметов: ее платье в цветочек, черное крыло волос, то удлиняющуюся, то укорачивающуюся при качании треугольную тень на внутренней стороне бедра, полярную голубизну в окне у нее за спиной и то облако-великан, все еще украдкой протягивающее свои жадные ледяные лапы. А может быть, я просто хочу промедлить, задержать это мгновение, когда все только еще предстояло, сохранить его в кристалле воспоминания, вроде тех сценок в стеклянном шарике, которыми я забавлялся ребенком: домик, и деревце, и снегирь на веточке, и все это вдруг скрывает вихрь снежных хлопьев? (Стоило мне заплакать, и слезы полились бы градом.) Ее лицо под моей ладонью

оказалось неожиданно прохладным. Я прочертил кончиком пальца линию ее скулы и подбородка. Она не поднимала головы. Но болтать ногой перестала. Каким образом я от стола переместился к окну? Мне представляется длинный упругий прыжок, вроде скачков кенгуру при замедленной съемке, и я очутился перед нею, скалясь и весь дрожа. Я чувствовал себя неустойчиво и где-то высоко-высоко, словно балансировал на ходулях и пялился на нее с высоты шутовскими выпученными глазами. Она была неподвижна — гладкое, теплое, настороженное существо, замершее наготове, что бы дальше ни произошло. Я сделал глубокий вдох, но он застрял и пришлось его проглотить, как комок в горле, и стараясь говорить деловым тоном рабочего человека, засучившего рукава, чтобы приступить к трудной, но интересной работе, сказал: «Ну что ж, другой раз такой случай не представится». — И почему-то рот мне затопил вкус черных ягод. Она торопливо заговорила, я не разбирал слов, она душно рассмеялась мне в рот, и я почувствовал, как ее губы размякли и сдвинулись вбок под моим неметким, смазанным поцелуем. Мы изумленно смотрели в лицо друг другу широко открытыми поплывшими глазами, потом она вдруг быстро

отстранилась, округлила рот, удовлетворенно и презрительно выдохнув: «Пфу!» Последовало долгое мгновение полной неподвижности, а потом, помнится, мы как-то все же разъединились, откашливаясь и извиняясь под нависшей угрозой разрушительного смеха. Я повернулся и не оглядываясь, твердо обратив к ней спину, весь в жару от страха, решительно переступая на невидимых ходулях, пошел обратно к столу. Взяв что-то, не знаю что, со стола, я принялся рассуждать об этом предмете, с жалким усилием над собой изображая непринужденность. Когда же я наконец оглянулся, ее уже не было.

Этот поцелуй. Ну, не знаю. Действие его на меня длилось много дней, даже недель. Я чувствовал себя разбитым, хотя и не вдребезги, я только весь пошел тонкими трещинами и щелями и качался на постаменте, как ледяная скульптура, по которой она, подбежав, с размаху звонко ударила молотком. Я опять и опять переживал это краткое прикосновение, испытывая сумрачную, опасливую радость, поворачивая его в памяти то так, то этак, разглядывая со всех сторон. Иногда я доводил себя самокопанием до того, что начинал вообще сомневаться в реальности этого события. Я так давно не целовал женщину, что уже и

забыл, как это бывает. И потом, я в таких делах вообще старомоден. Теперь мальчишки и девчонки (я все еще считал ее гораздо моложе, чем она была на самом деле) целуются чуть что. Куда ни взглянешь, обязательно увидишь целующихся — на улице, в автомобиле, даже на велосипеде. И это не скованные, неловкие объятия времен моей молодости, а по-настоящему, смачно, с открытым ртом, притираясь животами. Я знаю. Я следил за ними. (Удивительно, что меня не арестовали.) И конечно, я не допускал, что это могло значить для нее так же много, как для меня; язык пламени, лизнувший и опаливший мою пожилую плоть, на ее молодой шкурке, пожалуй, даже и не почувствовался. Ее поди постоянно целуют, ей это раз плюнуть. Да, неумолимо твердил я себе, для нее это ничего не значит, она и внимания, конечно, не обратила, и я, хорошенько встряхнувшись, как собака, когда выйдет из воды, снова принимался за дело, чтобы тут же опять, и с удвоенной страстью, погрузиться в эти мучительные, безумные, безнадежные фантазии. Лед, я сказал? Я сравнил себя с колотым льдом? Гораздо больше это походило на жидкую грязь, разогретую, вскипающую, мысли про А. поднимались со дна и звучно лопались на поверхности, а в глубине

уже собирался новый пузырь мутных, бессмысленных мечтаний.

Надо сказать, что А. играла в моих мыслях роль более или менее второстепенную, а в центре находился я сам. В конце-то концов, что я о ней знал? Это была наша вторая встреча, не считая фрагментарного мимолетного видения сквозь крошащуюся штукатурку фальшивой стены в первый день, как я вошел в этот дом; даже после того как я ее поцеловал, я не мог ясно представить себе ее лицо, а только в самом общем виде. Я понимаю, что говорю, отдаю себе отчет, как выдаю себя во всем своем ужасном эгоцентризме. Но так это было в первое время; словно глубокой темной ночью в пустом доме передо мной вдруг предстало мерцающее видение, и у меня перехватило дух, но оказалось, что это всего-навсего мое собственное отражение в затененном высоком зеркале. И много времени должно еще будет пройти, прежде чем серебряное покрытие на задней стороне этого зеркала начнет облезать и я смогу увидеть за стеклом ее или ту версию ее, которую она позволяла мне видеть.

Я чувствовал себя последним дураком. Я казался себе нелепой фигурой, вроде деревенского дурачка, грустного и смешного, но в то же время

и немного умилительного. Ребра мои болели от непрестанного усилия сдерживать в груди торжествующий вопль. Сам город расцветал, как роза под лучами моей новообретенной эйфории. Я стал заговаривать на улицах с незнакомыми людьми; я мог бы сделать что угодно — заказать в «Лодочнике» выпивку для всех присутствующих; шлепнуть Квазимодо по горбу и потащить его к «Святому Габриелю» распить на двоих бутылку шампанского. И всюду была она, само собой разумеется, она или, во всяком случае, ее призрачный образ: лицо, мелькнувшее в толпе, фигура, скрывшаяся за углом или одиноко и недвижно стоящая на империале автобуса, а автобус увозил ее от меня по серой пустыне широкой, продутой ветром и усеянной сухими листьями аллеи. Я проявлял чудеса ошибочного узнавания. Помню особенно один случай, когда я, запыхавшись, догнал черное платье и положил ладонь на вроде бы ее плечо, а в следующую минуту должен был извиняться и кланяться перед коротышкой-военным с нафабренными усами. Как мало участвовала во всем этом мысль, вот что меня сейчас изумляет. Под мыслью я понимаю не глубокое и вдумчивое рассуждение, взвешивание противоположностей и тому подобное, а простой, житейский ум,

почти неслышный голос, отзвук давнишних родительских поучений и предостережений с тех еще времен, когда меня учили стоять, ходить, говорить. Сознание мое превратилось в болото, в трясину, по которой если вздумаешь пройти там, где кажется тверже, обязательно провалишься до живота. И все это, прошу учесть, последствие единственного и, казалось бы, ничего не значащего поцелуя. Да, вот уж дурак так дурак!

Но выходит, что ты, то есть она, — обе! — были охвачены почти таким же восторженным, трепетным юным ожиданием и предчувствием, как и я. Правда, правда. Не говори мне, что все это было притворство, или, даже если и так, скажи, что притворством это было только в начале, а потом стало все всерьез. Прошу тебя, не лишай меня моих заблуждений, ведь они — это все, что у меня есть.

Так прошло три дня. Они представляются мне сейчас как застекленные экспонаты, отчетливые и нереальные, и я тоже помещен среди них в неловкой позе, с широчайшей, непроходящей улыбкой во весь рот — манекен в витрине. (Ох уж этот переизбыток тропов и сравнений! А где же тут я сам?) Я ждал, когда А. придет. Совершенно некуда было торопиться, все шло в ровном, хотя

и взволнованном темпе сердечного биения, на нас тайно воздействовали некие загадочные силы, законы космической геометрии, которые неизбежно сведут нас вместе, как параллельные лучи света в пространстве. Я блаженствовал все это выпавшее из времени время, как в детстве блаженствовал длинными субботними утрами. Она непременно придет. Мы будем вместе. Все получится.

Но получилась на самом деле тетя Корки.

Собственно, как я теперь вспоминаю, звонок раздался как раз субботним утром. Было еще совсем рано, и я, не проспавшийся после неспокойной ночи, сначала не мог понять, что мне говорят. «Это миссис Хаддон из приюта», — повторял незнакомый пронзительный голос, с каждым разом раздраженнее и выше тоном. А я, стоя в коридоре на холодном линолеуме, только тупо кивал в телефон, как будто на меня сердится сам телефонный аппарат. За спиной моей лязгнула почтовая щель и просыпала на коврик целую охапку счетов; у Гермеса выдалось беспокойное утро. «Алло, алло! Вы меня слышите? — кричал голос. — С вашей тетей плохо!» На заднем плане слышны были какие-то завывания, и я представил себе, как тетя Корки кружится, точно дервиш,

на черно-белых плитах холла в «Кипарисах», разматывая свои гробовые пелены. «Она спрашивает вас, — продолжала кричать миссис Хаддон. — Ни с кем, кроме вас, не желает разговаривать». Похоронные рыдания набрали силу и заглушили ее слова; мне показалось, будто она говорит что-то насчет солнца. «Шарон! — раздался ее вопль. — Шарон! Немедленно выключи эту мерзость!» Шум сразу стих. «Я приеду», — вздохнул я, как обиженный ребенок, которого отрывают от игры. «Да, уж пожалуйста», — возмущенно отозвалась миссис Хаддон, давая мне понять своим негодующим тоном, что она вправе ожидать от меня большего, чем просто покорности.

Она оказалась суетливой дамочкой-мышкой с весьма своеобразной фигурой: толстой и округлой в поясе, а руки тонкие и уж совсем неожиданно стройные ножки, наводящие на мысль о теннисе, о белой плиссированной юбочке и о розовом джине на траве рядом с кортом. Острая мордочка ее была бледной и почему-то влажно блестела, блеклые голубые глаза слегка навыкате смотрели немного по-рыбьи, и в этом было какое-то сходство с большеглазыми напудренными дамами Фрагонара. Разговаривая с вами, она упорно смотрела в сторону и, обхватив

двумя пальцами, терла запястье, как будто старалась натереть пузырь. Она вышла встретить меня на застекленную веранду, вид у нее был при этом укоризненный, даже сердитый, и хотя я примчался сразу же, я, сам не знаю почему, принялся мямлить в свое оправдание про заторы на улицах и про то, как редко ходит здешний автобус. «С ней никакого сладу нет, — оборвала меня мадам на полуслове. — Это ужас какой-то. И конечно, стоит ей начать, за ней следом и все остальные. Просто как малые дети». Все это она проговорила негромким, расстроенным голосом, глядя вбок, только видно было, как вздрагивает белый кончик ее острого носа. Вообще она была такой бледной, бесцветной, мне показалось, что у нее нет третьего измерения, стоит ей повернуться ко мне лицом, и от нее останется одна вертикальная линия, как будто она не живая, а вырезана из картона. Она повела меня в холл, где я увидел ее почтенную половину — призрачного мистера Хаддона, брыластого, сутулого и настороженного; он прятался в тени кадки с пальмой и делал вид, будто меня не замечает, а его супруга сделала вид, будто не замечает его. «Вы — сын», — сказала она, это прозвучало скорее как обвинение, а не вопрос. А когда я ответил отрицательно, она кри-

тически поджала губы, осуждая, по-видимому, не только меня, но и всю мою безответственную и безучастную семейку. «Ну, не знаю, — фыркнула она. — Она все время только о нем и говорит».

Что у тети Корки есть сын, я слышал впервые в жизни. Насколько мне было известно, потомства у нее не имелось, представить себе, что она качает на колене маленькую копию себя в мужском роде, вообще-то было, боюсь, даже смешно. Но в тот день, не выспавшийся, плохо соображающий, да еще в состоянии подросткового возбуждения (все тот поцелуй!), я нашел такую мысль забавной и в каком-то смысле верной и обрадованно воскликнул: «Ах да, конечно, конечно, ее сын!» — бестолково ухмыляясь, кивая и даже что-то напевая с закрытым ртом. Миссис Хаддон, которая подымалась впереди меня по лестнице, оглянулась и бросила на меня мрачный неодобрительный взгляд, он пришелся мне вровень с коленями. Мы уже подошли к комнате тети Корки, когда дверь приоткрылась и оттуда бочком вышел молодой человек неопрятного вида. Заметив нас, он остановился, испуганно озираясь, похоже, что готовый к бегству. Это был доктор Муттер, но я тогда не расслышал его имени. Не будем на нем сейчас задерживаться — мы еще

увидимся немного погодя. Он напомнил мне персонаж из «Алисы в Стране Чудес», Кролика, кажется, а может быть, Сумасшедшего Шляпника. Миссис Хаддон свирепым взглядом отправила его вон, и он, обрадованный, неловко кивнув, поспешил убраться.

Тетя Корки лежала на своей огромной кровати, неподвижная и плоская, мне даже показалось сначала, что ее связали. Она спокойно дышала. Глаза у нее были закрыты. Рядом на железной табуретке, растопырив голые коленки, сидела рыжая Шарон, похожая сегодня на девочку лет двенадцати, и читала книжку-раскладку. (Я даже разглядел открытый разворот: растянутые кроваво-красные губы, одна большая слеза и изо рта пузырь, а в нем надпись: «О Даррен!..» — надо же, какие подробности сохранила востроглазая Мнемозина!) Я приблизился на цыпочках, но Шарон подняла голову от книжки, улыбнулась и подмигнула, а у меня растроганно сжалось сердце: я увидел, что рука тети Корки, похожая на связочку сухих сучков, покоится в пухлой девчоночьей ладони. Должно быть, я был похож на Смерть, явившуюся собственной персоной: темные провалы вокруг глаз с недосыпа, смущенный нелепый оскал от уха до уха и перекинутый

через локоть макинтош, как саван наготове. Наклоняюсь над постелью, и в ту же минуту, как и в прошлый мой приезд, веки у тети Корки раскрылись, точно их дернули за веревочки, и она села в постели в своей белой рубашке, как новобрачная жена Франкенштейна (вообще у нее было какое-то сходство с Эльзой Ланчестер). Взволнованно восклицая: «О, я видела его! Видела его!», она судорожно вцепилась в меня свободной рукой, пытаясь выдернуть другую из крепких пальцев Шарон. Получилась трогательная сцена, достойная кисти сентиментального викторианского живописца, какого-нибудь сэра Имярека Такого-то Сякого-то: полуодетая старуха сидит в разметанной постели, горестно подавшись вперед, а ее поддерживают с одной стороны улыбчивая девочка-сиделка, а с другой — немолодой, сомнительного вида племянник, чей поношенный костюм и небезупречное белье служат знаками заинтересованности в наличии наследства; а на заднем плане еще, само собой, присутствует бледнолицая госпожа Смерть. «Ей мерещится, — жизнерадостно пояснила мне Шарон, слегка подергала тетю Корки за руку и громко, как у глухой, спросила: — Верно ведь, дорогуша?» Но тетка не ответила, только еще

глубже вонзила сухие старушечьи пальцы в мой локоть. «Он приходил ко мне, — проговорила она трепетным полушепотом. — Пришел, встал вот тут, где ты сейчас стоишь, и смотрит на меня. А глаза ну совершенно отцовские!» Тут в комнате что-то блеснуло, как будто направили внутрь отражающую панель. «Это был сон, — громко произнесла миссис Хаддон, а потом еще громче: — *Говорю же, это вам просто приснилось, только и всего!*» Тетя Корки едва удостоила ее взглядом, только слегка пожала плечами. «Ну конечно, приснилось», — усмехнулась она, отпустила мой локоть, достала из тумбочки папиросы и без стеснения закурила, выпустив в сторону миссис Хаддон большое клубящееся облако дыма.

Как же, как же, конечно, был ребенок, заверила она меня, маленький мальчик. Рассказ ее был сбивчив, подробности нечетки. Получалось, что у него даже имени не было, у этого чудо-младенца. По ее словам, она его потеряла. Я думал, она говорит фигурально, подразумевая в обобщенном смысле насильственный конец, вроде того, что настиг когда-то ее мужа, но нет, в прямом смысле. В один прекрасный, вернее — в один ужасный день, среди лишений военного времени, она его просто потеряла, детская ручка выскользнула

из ее руки, и все, он пропал, навеки. «Такие вещи тогда случались, — настаивала она. — Тогда случались». Мы помолчали, прислушиваясь к гортанным крикам чаек и к утробному урчанию отопительной батареи под окном. Шарон и миссис Хаддон были отправлены вон, чтобы тетя Корки могла каяться передо мной с глазу на глаз. Она сидела на кровати, окутанная облаком табачного дыма, глядя вбок; утренний свет играл на ее золотом парике, а я ломал голову над сложным вопросом: насколько можно верить в это новейшее добавление к запутанной повести о бедах и утратах, которая, по ее словам, составляла историю ее жизни? Способна ли она, даже она, сочинить такое? А потом я подумал: почему бы и нет? Я был настроен миролюбиво и по-родительски снисходительно. Так подействовала на меня моя влюбленность (я пока еще не называю это более сильным словом). Я наконец почувствовал себя полностью взрослым человеком, которому приходится разбираться в детских делах, а тетя Корки — это как бы моя малолетняя дочурка, заплакавшая среди ночи, и я подошел к ней с лаской и участием. Взял за ручку, улыбнулся, кивнул, сочувственно опустив веки и поджав губы, изображая сострадание и предаваясь са-

моупоению — ведь на самом-то деле, как всегда, центральной фигурой в спектакле был я лично, новенький, с липкими крылышками, прямо из кокона, разодранного поцелуем. Я только краем уха слушал рассказ бедной тети Корки об ее пропавшем мальчике, представляя себе, как он бредет один под дождливым небом по разбитой снарядами дороге, в драном пальтишке и наползающей на уши высокой кепке, и детские пальцы панически сжимают ручку картонного чемодана. И эти глаза, глядящие на меня из Европы. «Мертвые не прощают, — сказала тетя Корки, печально вздыхая и качая головой. И тут же улыбнулась мне нежно. — Ты ведь и сам это, конечно, знаешь».

За дверью дожидалась миссис Хаддон, сжав под грудью белые ручки. Не иначе как подслушивала у замочной скважины. Глядя блестящими выпуклыми глазками пониже моего подбородка, она деловито проговорила: «Она очень плоха». Я не понял, в каком смысле, но не нашелся, как спросить, поэтому неопределенно кивнул и принял озабоченный вид. Я и потом, за все время, что прожил вместе с тетей Корки, так и не понял, что с ней было. Я думаю, она умирала просто от себя самой, если можно так выразиться. В

торжественном молчании я спускался вниз по лестнице бок о бок с миссис Хаддон. Я чувствовал, что ей нужно мне что-то сказать, и наконец она все-таки высказалась, хотя и обиняком. «У вас есть семья? — спросила она. Мне в последнее время что-то очень уж часто задавали этот вопрос. Я отрицательно затряс головой, наверно, догадываясь, к чему она ведет. — Вашей тетушке нужны домашние условия, — проговорила миссис Хаддон тоном хозяйки дома, чье терпение на пределе, из-за того что никак не удается отделаться от давно осточертевшей гостьи. — Вы же не хотите, чтобы она умерла здесь?» Я растерялся сразу по нескольким причинам. Во-первых, я только сейчас, от нее, впервые услышал, что старушка умирает; а во-вторых, если это правда и она доживает последние дни, я не мог взять в толк, что тут для меня важнее, моя возросшая ответственность или близкое освобождение. Поэтому я молчал. Мне стало не на шутку страшно. Один безобидный добрый поступок — посещение старой родственницы — вдруг пророс цепкими щупальцами, и они уже обвили мне лодыжки. Я хотел было возразить, что здесь как раз и есть самое подходящее место для умирания, но вместо этого забормотал, что живу один, что у

меня очень мало места и недостаточно удобств для больного человека, что, право, я просто не представляю себе, это совершенно невозможно… Должно быть, я покраснел, по крайней мере лицо у меня горело, и голос вдруг ужасно осип.

Поразительно, как мир все время подсовывает удобные случаи для предательства. Я считал, что уже покончил со всем этим: желанием и долгом, жалостью и чужой нуждой, одним словом, с жизнью, — и вот, пожалуйста, я опять вздыхаю по женщине, и на мне висит умирающая родственница, и я опять сижу по горло во всей этой белиберде. Не приходится удивляться, что я запаниковал. Внизу у лестницы нас ждал мистер Хаддон, в похоронном черном костюме, с покатыми плечами, с совершенно не заинтересованным выражением лица. Жена, спускаясь, объявила ему траурным тоном: «Я только сейчас объяснила мистеру Морроу, что его тетушка нуждается в домашнем уюте». Он посмотрел на меня по-товарищески участливо: мы с ним оба боялись эту женщину с белыми рыбьими глазами, вощеной кожей и манерами воспитанной истерички. Я отбарабанил ему тот же набор возражений и ринулся к выходу, договаривая на ходу через плечо и пропихивая руки в рукава макинтоша, словно

старяясь надеть на себя пару непослушных обвислых крыльев.

На воле стоял серебристый день, и у меня полегчало на душе, как всякий раз после побега из их учреждения. Но мимолетная легкость ушла, мне все-таки было не по себе. Есть вещи, о которых не хочется думать. Рассказ тети Корки взбаламутил черные воды памяти. Вот так всегда: то, к чему привяжешь тяжелый камень и утопишь, кажется, глубоко-глубоко, с первой осенней бурей вдруг возьмет да и всплывет на поверхность — руки-ноги разбухли, мутные, потухшие глаза смотрят сквозь тебя в вечность. Но я ее не винил: она имеет право населять свой мир драматическими выдумками, раз они приносят утешение, или забавляют, или помогают убить время. Довольно мне винить людей за их слабости. Я вообще больше никого ни в чем не виню. Кроме себя, конечно. Этому нет срока давности.

После горестного рейда в страну призраков из теткиного прошлого возвращаться домой как-то не тянуло, и я, выйдя из автобуса, повернул, само собой разумеется, в сторону Рю-стрит. Во всем квартале царила субботняя тишина. На тротуаре против дома Мордена топтался какой-то человек с большой, круглой, как шар, прилизанной голо-

вой. Он был одет в застегнутый на все пуговицы твидовый пиджак и тесноватые брюки, черные башмаки были надраены, как лакированные. Он напомнил мне раскрашенных деревянных солдатиков на колышках, которые мне дарили в детстве. Когда я с ним поравнялся, он едва заметно, вскользь, мне улыбнулся, словно знакомый, и тут же повернулся в другую сторону. У меня тогда уже был свой ключ от дома. Я вошел, закрыл за собой дверь. На миг задержался в высоком безмолвии холла. И сразу же, как будто я вступил в декомпрессионную камеру, мысль об А. побежала пузырьками по венам, и все остальное перестало существовать.

Но что это значит, как понимать слова: мысль об А.? О ней ли я думал или же о своем представлении о ней? Вот еще один вопрос, который меня сейчас мучает. Потому что даже когда она еще была здесь, со мной, если я хотел вообразить ее перед собой, то видел не ее самое, а лишь что-то нежное и обобщенное, как бы туманное облачко, сквозь которое просвечивало ее присутствие, как невидимое солнце просвечивает сквозь утренний туман. Только раз или два, уже под самый конец, обнимая ее, я, мне кажется, преодолел барьер неведения и докопался до настоящей, как

говорил я себе, истинной А. Знаю, знаю, читал труды: никакой истинной А. не существует, есть только набор знаков, только ряд масок, сетка связей между множеством точек; и тем не менее я настаиваю, в эти мгновения со мной была она, это она вскрикивала и прижималась ко мне, она, а не мерцающее изображение, стоп-кадр, подсунутый мне двусмысленной реальностью. Я владел реальной ею. Мне наплевать на обман и на злые шутки, сыгранные надо мной, наплевать на все это. Я ею владел, вот что главное. А теперь уже начал ее забывать. И это еще одна моя мука. Каждый день ее облик все больше тускнеет в моей памяти, размываемый приливами и отливами времени. Я даже не помню, какого цвета были ее глаза, какого цвета у нее глаза. Это входит в цену, которую я обязан заплатить: я ею владел, и чтобы это было правдой, я должен теперь ее лишиться. Кажется, тут какая-то путаница с модальностью. Чем бы мне было занять себя, когда бы не язык наш?

Ее присутствие в доме я почувствовал раньше, чем услышал. Я бесшумно поднимался по спирали лестницы, точно молящаяся душа, восходящая в небо. Потайная дверь была отодвинута, и я увидел, как А. движется по комнате. Я остановился

и стал смотреть. Сейчас мне кажется, что этот миг скрытого наблюдения был первым предвестием того, чему предстояло быть; в самом ли деле так или это моя фантазия, но я как будто бы ощущал предвкусительное жжение, когда стоял там, затаившись, слушая пульсацию своей крови и трудно дыша, закутанный в грязный старый макинтош. Мы стоили друг друга, наблюдатель и наблюдаемая. Возможно, она, со своей стороны, тоже знала о моем присутствии, возможно, это и натолкнуло ее на мысль о дверном глазке (который скоро откроет удивленные веки). Она была чем-то занята, ходила по комнате, постукивая высокими каблучками, исчезая из моего поля зрения и появляясь вновь. В окне у нее за спиной — ртутный блеск дня, и первые шорохи дождя по стеклу. Во что мне нарядить сегодня мою куколку? В черное, как всегда, в черную шелковую блузу и эластичные брюки, которые я не любил — в мое время их называли «лыжные штаны», — они зацеплялись снизу под пяткой и придавали ноге упругий несгибаемый вид, сходясь клином от бедра к лодыжке. Надо будет мне разобраться в вопросах одежды, в модах и тому подобном, выяснить, что как называется, чтобы не путать, где платье, а где — юбка. (Что

такое, кстати, платье-рубаха?) Вот будет еще одно безобидное развлечение. На днях я видел в галантерейном магазине, как молодой человек у прилавка нижнего белья с озабоченным и несчастным видом обсуждает с многотерпеливой продавщицей размеры дамских трико. Воистину, времена меняются — раньше этот парень заработал бы у нее оплеуху, а то и вовсе был бы сдан на руки полиции. А. в таких делах была снисходительна. Раз, когда мы лежали в постели и я, набравшись смелости, смущенно попросил ее не снимать последнего прозрачного предмета одежды, пробормотав невнятно какое-то обоснование, она весело, гортанно расхохоталась и сказала, что всегда мечтала о любовнике-фетишисте. Счастливые воспоминания. А пока я стою в коридоре, за окном идет тихий дождь, и А., милое и подчас на диво практичное дитя, хлопочет, устраивая для меня (а придет срок — для нас обоих) ложе на старом кочковатом, безропотном и неизменно услужливом раскладном кресле, которое предусмотрительная судьба — или требования искусства — предоставили в наше распоряжение в этой белой комнате.

Наконец ноги у меня начали дрожать от неподвижного стояния, я сценически звучно кашля-

нул и прошел внутрь как ни в чем не бывало, словно ее здесь вообще не приметил. Если она и удивилась моему появлению, то не показала виду, а только оглянулась и сунула мне в руки подушку, сказав: «На-ка, подержи». Настоящая маленькая хозяюшка, хлопотливая и озабоченная. Спросила, как я считаю, хорошо ли кресло стоит вот так, против окна? «Тут мне еще нужны шторы», — заметила она, измеряя прищуренным глазом площадь окна. А как же, непременно шторы, нельзя же без штор. И еще кресло-качалка, и кошка, и трубка с домашними туфлями для меня, а там, глядишь, и детская кроватка в углу, это тоже, почему бы и нет? Я стоял, прижимая к груди подушку и улыбаясь как идиот, и сам не знал, что нелепее: то, что она делает, или как я к ее действиям отношусь — словно это вполне естественно, вот так прийти в субботу среди бела дня в нежилой дом и застать там ее за преображением пустой голой комнаты в любовное гнездышко. То была последняя минута, когда я еще мог опомниться и трезво, раз и навсегда, признать, что происходящее смешно, невозможно и сопряжено с несказанными опасностями. Мне стоило только открыть ей, кто я такой на самом деле, и она отшатнется и, пятясь, уйдет, в немом

ужасе расширив глаза, как блюдца, потрясенная, с дрожащими губами. Но я ничего не сказал, а просто стоял, расплывшись в улыбке и кивая, пьяный от любви новобрачный муженек, и когда она деловито выхватила подушку из моих объятий и понесла к постели, будто пухлого беленького младенца, я беспомощно опустил руки и понял, что я пропал. Помню, мне еще совершенно невпопад пришла в голову мысль, что, может быть, она красит волосы, такие они черные и блестящие по сравнению с белизной лба и девической шеи. Я говорил о ее бледности? Но в этой бледности не было ничего от худосочности и малокровия. Просто она вся светилась изнутри сквозь свою тугую прозрачную кожу. В первое время, обнимая ее нагую, я иногда воображал, что то, чего я касаюсь, это не кожа, а тончайший гибкий панцирь, в котором таится другая, недостижимая, она. Удалось ли мне хоть раз пробиться через эту прозрачную пленку?.. Ради Бога, довольно! Все время один и тот же вопрос, не могу больше. Да к тому же я знаю ответ, зачем же спрашивать? Дождь за окном продолжал возбужденно шептать, весь захваченный любопытством: что мы будем делать дальше? Запах свежего постельного белья почему-то напомнил мне детство. Придерживая

подушку временно удвоившимся подбородком, А. заправляла ее в наволочку. Словно по колено в вязкой жидкости, я двинулся к ней, перебирая пальцами по краю моего рабочего стола, как марш дрожащих от страха игрушечных солдатиков. А. бросила подушку на постель, обернулась мне навстречу и, прищурившись, наблюдала за мной, как бы примериваясь, сколько еще шагов осталось. На минуту мне почудилось, что она сейчас рассмеется. У меня стало по меньшей мере три руки, и все три неизвестно куда девать. Я попробовал было что-то произнести, но она быстро приложила палец мне к губам и качнула головой. Я взял ее руки в свои, и мне вспомнилась птица, которую я когда-то поймал и держал вот так; должно быть, она была больная, умирающая. «Тебе холодно», — проговорил я. Это не сцена из спектакля, это простые банальности, которые слетают в такие минуты с губ даже самого красноречивого любовника. «Нет, — ответила она. — Вовсе нет. Ничуть».

Изо всех наших греховных мгновений именно это, предваряющее и в сущности невинное, я вспоминаю особенно живо, с особенно мучительным, острым страданием. Помню ее решительную улыбку, когда она отстранила меня и принялась

методично расстегивать пуговки на черной блузе. Теперь она сидела на краю постели, а я стоял над нею все еще в своем старом макинтоше, должно быть, с приоткрытым ртом и тяжело дыша, как старый бык на подкашивающихся ногах. Помню темные углубления возле ее плеч и сами плечи, изящно вздернутые, на правом — круглый белый отсвет от окошка, и ее необыкновенные, маленькие, похожие на сжатые кулачки, груди с взбухшими сизыми, будто синяки, сосцами. Резинку лыжных штанов скрывала на животе мягкая белая складка, по следу от нее мне хотелось провести языком. Она скинула туфли, высвободила пятки из штрипок, и эластиковые штанины обмякли, как шкурки от воздушных шариков. Ее крохотные румяные стопы со странно расходящимися пальцами говорили о босоногом детстве где-нибудь у моря, среди магнолий и разноцветных крикливых птиц. О моя Манон, где ты? Где ты…

Но тут снизу донесся стук в парадную дверь. (Может быть, все-таки это сцена из спектакля.) Все сразу резко переменилось. Мы виновато посмотрели друг на дружку, как нехорошие дети, застигнутые за чем-то гадким. Я заметил, что выше локтя у нее на руках гусиная кожа, а соски съежи-

лись и на плечах остались голубые бороздки от бретелек. Стук повторился, странно ненавязчивый и от этого только еще более повелительный. Сердце мое рванулось и стреноженное взвилось на дыбы. «Не отзывайся», — шепнула А. Вид у нее был не столько встревоженный, сколько озадаченный, она хмурилась, отвернувшись к окну, и кусала ноготь на большом пальце; этот стук за сценой не предусматривался в известных ей ремарках. Она рассеянно принялась одеваться. Я же, несмотря на испуг, набухая восхищением, наблюдал, как она, ловко передернув плечами, устроила свои маленькие скачущие груди в узких кружевных гнездах и просунула прямые руки в рукава черной блузы, так что, когда я повернулся и побрел вон из комнаты на заплетающихся ногах, с глазами кролика, утирая пересохшие губы тыльной стороной кисти, я был в состоянии такого возбуждения, что спускался по ступеням чуть ли не на четвереньках. На пятереньках.

Парадная дверь смотрела мне навстречу с затаенным злорадством, словно ей не терпелось распахнуться и напустить на меня орущую орду обвинителей. Какое пророческое предчувствие внушило мне этот страх? Но когда я открыл дверь (она с размаху ударилась об наружную стену,

издевательски вереща петлями), я про себя полошадиному заржал от облегчения, хотя кого или что я ожидал увидеть, не знаю. На пороге, в извиняющемся поклоне, обрызганный дождем, стоял давешний тип с большой круглой головой, которого я заметил на противоположном тротуаре, — помните его? Он уже поднял руку, чтобы постучать в третий раз, и теперь поспешно опустил, обрадованно улыбнулся, прокашлялся и сказал:

— А, мистер М.! Вас-то мне и надо.

4. ИЗБАВЛЕНИЕ СИРИНГИ
Иов ван Хеллин (1598–1647)

Холст, масло, 23 5/8 x 31 1/8 дюйма (60 x 80 см)

Этот художник, как известно, лет десять проработал в многолюдной мастерской Петера Пауля Рубенса, вплоть до смерти великого фламандца в 1640 г.; вполне возможно даже, что отдельные части, подчас довольно внушительные по площади, величайших полотен Рубенса принадлежат на самом деле кисти ван Хеллина, в ту эпоху одного из самых техничных живописцев Фландрии, пользовавшегося, судя по всему, полнейшим доверием своего патрона и ментора. Ван Хеллин в письмах говорит о глубоком уважении, которое он питает к старшему мастеру, и несомненно, в его полотнах последних лет влияние Рубенса бросается в глаза, особенно в энергичном мазке и колористическом богатстве. Однако манере ван Хеллина, как свидетельствует «Избавление Сиринги», присуща прохладная сдержанность — холодность, сказали бы некоторые критики, — выделяющая его среди большинства учеников

и последователей Рубенса. Его отстраненность и классическая уравновешенность приводят на ум скорее Пуссена и Клода Лоррена, чем представителей школы великого фламандского мастера с их характерным ощущением живой плоти. Именно эта скульптурная неподвижность, так контрастирующая с динамичным сюжетом, и пасторальная простота пейзажа — пасущиеся стада овец и дымчатые дали — являются чертами сравнительно умеренного, менее итальянизированного стиля, отличающегося этим от стиля его учителя. Ван Хеллин был католиком в католической Фландрии, однако в его зрелых работах присутствует строгость протестантизма — если позволительно употребить это слово в данном случае, — по-видимому, свидетельствующая о том, что автор не чужд политических и религиозных противоречий своей эпохи. Пейзаж, изображенный здесь, это не Аркадия с живописными скалами, оливами и резким полуденным освещением, а мирная равнина северных широт, которую не коснулись бурные страсти богов и героев. Но над нею уже нависло ощущение какого-то неопределенного неблагополучия. Гора Лицей проглядывает сквозь синий туман миазмов, угрожающе поблескивает слегка вспученная коричневая поверхность реки

Ладон. На среднем плане фигуры бога и нимфы, захваченных своей мелкой драмой желания и утраты, кажутся почти необязательными для композиции, картина и без них представляет собой законченный, гармонично построенный пейзаж. С правой стороны среди густой зелени, кое-где темной до черноты, высятся светлые храмы, придавая полотну настроение возвышенного покоя. Это — врата в иной мир, откуда невидимые олимпийцы с восторгом и недоумением безмолвно наблюдают за тем, что происходит в круге смертных. Здесь, в золотисто-зеленом мире, на медвяном закате, резвится их паршивая овца Пан. С каким искусством живописал художник этот образ, одновременно божественный, комичный и ужасный! Козлоногий бог, приплясывая на бегу, гонится за нимфой, но она уже недоступна для него, ее укрыли колышущиеся тростники. А фигура Сиринги, в белых одеждах, подобранных выше колен, так что ее можно было бы принять за Диану-Охотницу, выражает глубокую печаль и в то же время как бы томление, стремление вырваться из мира людей, который ей уже в тягость; ее влечет предстоящий ей переход в мир Природы. Встречный ветер, клонящий тростник на речных отмелях и развевающий ее длинные

золотые волосы, — это ветер перемен. (Жаль что художник почему-то счел уместным изобразить нежную нимфу в окружении толпящихся и откровенно фаллических камышей.) Сиринга — центр композиции, ось перехода между двумя состояниями: от смерти-в-жизни к жизни-в-смерти; образ изменения в неизменности. Она свидетельствует о том, что и личности, и миру дана возможность такого преображения, когда и личность, и мир остаются собой. Сиринга Хеллина может служить прекрасной иллюстрацией к словам Адорно: «Искусство в своем отношении к эмпирической реальности призвано напоминать нам теологический постулат, что в состоянии искупления все останется таким, как оно есть, и при этом совершенно иным». А у меня даже нет тростниковой дудочки, чтобы играть на ней в память о тебе.

~~~

Оно постоянно возвращается. Я думаю о нем как о совершенно другой истории, но какое там. Напрасно я твержу себе, что сбросил все это с себя, точно старую кожу, и теперь, голый человек с новым именем, могу, не стыдясь, войти в новую жизнь легко и радостно, как в другое рождение. Но не тут-то было. Оно возвращается, волоча по грязи бескостные члены, и вдруг встает передо мною, нелепое, в самых немыслимых обличьях. Вот как, например, этот субъект с круглой головой, которая словно выпучилась вверх из его узкого цилиндрического торса в пиджаке, застегнутом на все пуговицы, и ненадежно качается, как шар на воротном столбе. Никогда в жизни не видел до такой степени шарообразной головы. Да еще эти черные намасленные волосы, от пробора у левого уха зачесанные набок через весь лысый череп и похожие на плотно прилегающую шапочку из лакированной кожи. Глаза у него тоже черные, очень маленькие и близко поставленные, но немного на разном уровне, левый выше правого, словно вопросительно приподнят, и это
~~~

меня смешило и одновременно внушало страх. Его улыбка, которую он изображал, плотно сжав губы и только уголки загибая кверху под прямым углом, говорила не столько о веселье, сколько о страданье, как будто у него колика в животе или ботинок жмет. И весь он производил впечатление исключительной, фанатической опрятности — сиял чистотой, почти светился. Я представил себе, как он каждое утро в кальсонах и майке моется над треснутой раковиной, надраивая кожу. Я сразу же если и не узнал, кто он, то кто таков, догадался и почувствовал как бы беззвучный взрыв — дрожь пробежала по телу, словно рассекла меня тончайшим лезвием надвое от макушки до паха. Испуг всегда содержит в себе для меня толику удовольствия.

Он сказал, что его фамилия — Хэккет.

— Неужели вы меня не помните? — спросил он с искренним разочарованием.

— Помню, конечно, — солгал я.

На самом-то деле, как это ни странно, но я его действительно не узнавал. Воспоминания о тех бедственных событиях в моей жизни — сколько прошло, лет двенадцать? тринадцать? — местами размылись. Это, конечно, память, избирательная и благосклонная, позаботилась изъять из моего

дела некоторые подробности, но не возьму в толк, как из картины тех недель — перегруженной деталями, не спорю, но как она умудрилась полностью вычеркнуть такую незабываемую фигуру, как инспектор-детектив Амброз Хэккет? Тем не менее факт таков, одного из нас память подвела, и похоже, что не его. Мы помолчали, стоя друг против друга. Он засунул себе палец под воротничок рубашки спереди, под толстым узлом галстука, и оттянул, морщась и дернув головой влево. Это был один из его тиков, раз увидев, как он дергается, я должен был бы это запомнить. Прошло несколько мгновений, отмеренных ударами сердца. Среди немногих усвоенных мною в жизни уроков один гласит, что нет такой ситуации, пусть как угодно тяжелой и страшной, когда бы человек уже был неспособен испытать неловкость. Мне доводилось видеть, как адвокаты немеют от смущения, как судьи прячут от меня глаза, а тюремщики краснеют. И право же, это говорит в пользу нашего рода человеческого, раз мы теряемся и не знаем, куда деваться, когда нарушается универсальный кодекс поведения; не есть ли это доказательство истинного наличия в нас настоящей души? Вот, например, такая немыслимая ситуация: детектив и я; я — на пра-

вах хозяина в дверях чужого, необставленного и необитаемого дома, да еще наверху ждет моего возвращения полуголая молодая женщина; и он — за порогом, под дождем, без пальто, кротко дожидается, чтобы его пригласили войти.

— Я работал, — сообщил я ему, это была единственная неопределенно деловая реплика, которая подвернулась на язык. Получилось глупо. Голос мой прозвучал неестественно, нарочито громко, словно специально предназначенный для подслушивающих ушей.

Хэккет кивнул:

— Об этом я как раз и хотел бы поговорить.

Вот так так. Я думал, он из тех «сотрудников», которых власти считают нужным время от времени присылать для напоминания, что я — не свободный человек (*жизнь есть жизнь;* как часто мне приходилось слышать это обманчиво-тавтологическое предостережение).

Я пригласил его в дом и попросил подождать в холле, пока я схожу за плащом.

Ее в комнате уже не было. Я постоял минуту, тяжело дыша и растерянно озираясь, потом бросился по лестнице вниз в ужасе при мысли, что Хэккет воспользовался моим отсутствием и принялся шарить по углам, хотя что он мог такое

найти, чего я опасался, затрудняюсь сказать; люди вроде него способны любую безделицу обернуть уликой преступления, которого ты за собой даже не подозревал. Но я напрасно волновался: он был сама безупречность. Я застал его смирно стоящим посередине холла, руки сцеплены за спиной, на лице — невиннейшая улыбка, ну прямо рослый нескладный подросток, дожидающийся у кулисы, когда его вызовут для вручения награды.

Мы направились с ним к реке. Моросило. Хэккет поднял воротник пиджака. «Надо же, забыл плащ», — сокрушенно произнес он; у него была манера, что ни скажет, всему придавать иронический извиняющийся тон.

Я оказался в странном положении: я не вполне сознавал, что наша встреча сулит мне недоброе. Наоборот, все еще рассеянный и возбужденный мыслями об А. я, словно аэростат, сорвавшийся со стропов, тихий, большой, плыл, мягко подпрыгивая, переполненный бессмысленным восторгом. И была еще одна причина мне испытывать почти-радость, хотя я не сразу ее осознал: облегчение. Владение тайной дает власть, как говорил философ. Но в то же время это тяжелый груз. Я не знал — или знал, да забыл, — что притворяться не

тем, кто ты есть, — огромное, неподъемное бремя, и теперь был рад освободиться от него, хотя бы ненадолго; да еще благодаря кому — человеку, который утверждает, будто находился среди тех, кто некогда его на меня взвалил. Я признался ему, что сменил фамилию, но он миролюбиво улыбнулся и кивнул. «Как же, уведомлен, — сказал он. — Да ради Бога. Про черного кобеля вы ведь знаете, мистер М., про его шкуру».

Дождь припустил всерьез; крупные капли, как жемчужины, усеяли его лакированную макушку.

Я предложил зайти куда-нибудь выпить по стаканчику, или он на дежурстве? Он принял это за шутку, оценил и засмеялся, сощурив глаза:

— По-прежнему острите, как я вижу.

Его машина, помятый красный «факад» с кивающей пластиковой собачкой на заднем стекле, была припаркована в узком переулке за церковной оградой. Хэккет открыл мне дверцу, и мы сели. Внутри пахло хвойным освежителем воздуха, искусственной кожей, потом. Мне много раз приходилось ездить в таких автомобилях на заднем сиденье зажатым между двумя дюжими, бдительными, шумно дышащими молодцами в синих рубахах и блейзерах. Овчинный запах

нашей мокрой одежды сразу перебил сосновые ароматы, и окна начали запотевать.

— Жуткое было убийство, — сказал Хэккет. — Он всадил ей нож в глаз и отрезал груди. Вроде какого-то ритуала. Я думаю, он это и еще повторит. А вы?

— Я — что?

— Вы как считаете, он повторит это? Обычно они одним разом не ограничиваются.

— Бывает по-всякому.

— Угу.

После этой короткой стычки то, что стояло между нами, успокоилось, смирно село и сложило ручки. Я вообще-то не имею ничего против полицейских. Как правило, они люди вежливые, внимательные; хотя, конечно, в семье не без урода. Что в первую голову меня в них поразило, еще когда мне приходилось довольно плотно с ними общаться, это их невероятное любопытство. Ну, прямо школьницы, со всех сторон обступившие подругу, которой удалось наконец лишиться девственности. Подробности, подавай им все грязные подробности. Как они потели, склоняясь надо мною, раздувая ноздри и похрапывая, пока я неосмотрительно расписывал для их удовольствия мои жалкие, постыдные показания!

Постойте-ка, постойте, говорили они, мягко, но настойчиво кладя мне на плечо короткопалую лапу, *в прошлый раз вы это излагали иначе.* И я вынужден был перелопатить весь сюжет, чтобы как-то увязать его с новым поворотом, который только что измыслила моя работающая на превышенной скорости фантазия. И каждый раз по окончании нашей беседы шуршали бумаги и скрипели пластиковые стулья, когда они откидывались на спинки, устремляя вдаль мечтательный взор усталых припухших глаз, и издавали тихий протяжный выдох с фиоритурой, которую я только могу истолковать как зависть. Правильно говорится, что ближе всего мы узнаем человека, который представляет для нас опасность. Думается, я знал своих следователей гораздо лучше, чем их жены. Тем страннее, что я никак не мог вспомнить Хэккета. «Я был там, когда вас в первый раз доставили в участок, — сказал он. — Разве вы не помните?» Но нет, я не помнил и по сей день не знаю, правду ли он говорил или же сочинял для каких-то своих сомнительных и замысловатых надобностей. Поначалу я принял его за дурака; это один из моих недостатков: я сужу о людях по их внешности. Он, я вскоре убедился, играл с подследственным,

как большой, ленивый, с виду глупый кот играет с придушенной мышью. Затронет какую-нибудь тему — и тут же мягко отскочит и будто смотрит совсем в другую сторону, но одну вытянутую лапу держит наготове, и когти выпущены.

— Насчет картин этих, — проговорил он, задумчиво щурясь на дождь за стеклом. — Какого вы о них мнения?

Острие паники кольнуло надутый шар моего самосознания, и из него с шипением вышли остатки эйфории. Я плюхнулся на землю.

— К-каких картин? — слишком поспешно переспросил я слегка дрогнувшим голосом.

Он усмехнулся и, не оборачиваясь, слегка покачал головой. Помолчал, дожидаясь, чтобы безмолвие затянулось потуже.

— Вы вот что мне ответьте, — сказал он затем. — Они вообще-то знакомы вам?

И тут только, повернув голову, испытующе посмотрел прямо на меня. Вернее, почти прямо, потому что нос у него был немного свернут набок (возможно, начало полицейской биографии — драка у дверей кабака, удар в нос невесть откуда, искры и кровь), и это, вместе со скошенными глазками, напомнило мне те палочки-фигурки с головами-месяцами, одновременно анфас и в

профиль, которыми Пикассо на старости лет разрисовал стены своей виллы в Антибе или где там она у него была. Я чуть не засмеялся от страха.

— Знакомы? — срываясь на визг, переспросил я. — То есть в каком это смысле знакомы?

На лице у него появилось рассеянное, умудренное выражение, как у очень древней черепахи. Он опять молчал, барабаня пальцами по баранке. Свет внутри автомобиля был влажный и туманный, будто на нас спустилось дождливое небо. По крыше барабанили капли.

— Говорят, — задумчиво промолвил он наконец, — что молния не может ударить дважды в одно и то же место. Может. И ударила. — Он усмехнулся. — Вы были, так сказать, первым ударом.

Я ждал, обескураженный. В тишине словно тихо тренькало что-то маленькое, металлическое. Он заговорщически ухмыльнулся мне, между зубами мелькнул сизый кончик языка.

— Ну да, вы еще не слышали, понятное дело. Страховщики просили повременить с сообщением, — торжествуя на свой лад, вполголоса произнес он. — Уайтуотер-Хаус опять ограбили.

Я отшатнулся, будто получил пощечину. Дыши медленно, выдох-вдох. Я рукавом вытер запотев-

шее стекло со своей стороны. Мимо под дождем шли под ручку три смеющиеся девушки. Воздух над улицей вдруг напрягся, раздался один гулкий, черный удар большого соборного колокола. Я опустил глаза, ища сумрака и отдохновения. Носы Хэккетовых башмаков лоснились, как каштаны. *Диагональ.* Я тридцать лет не видел диагоналевых брюк. Со мной в школе учились такие, как Хэккет, — фермерские сыновья, твердо решившие пробиться в жизни, крутые, цепкие молчаливые парни, трогательно готовые искать и найти; совсем не в моем духе. Я относился к ним с презрительным безразличием, но в тайне они меня смущали своей упрямой, четкой целеустремленностью. Настоящие люди, я всегда тушуюсь перед настоящими людьми.

— На этот раз вывезли добрых полдюжины, если не больше, — продолжал Хэккет. — Прямо в рамах. Подогнали к торцу здания фургон и передали через окно. Знали, чего им нужно. — Он что-то прикинул в уме, покосился на меня и опять улыбнулся клоунской улыбкой. — Без помощи эксперта тут не обошлось. — Но я думал про трех смеющихся граций под дождем. — Нам, понятное дело, известно, кто они, — он снова стал серьезным, — они, можно сказать, оставили свои

визитные карточки. Дело только за… уликами, — и, хмыкнув, добавил: — Да, вот еще что вам будет интересно. Один из них шмякнул охранника молотком по голове, еще бы немного, и убил бы.

По проселку катит громоздкий старый автомобиль, вихляя из стороны в сторону и в конце концов оказываясь в канаве. Картина черно-белая, дергающаяся и исцарапанная, как на древней кинопленке. Мгновение ничего не происходит, затем автомобиль в канаве начинает сильно раскачиваться, и раздается вопль ужаса и боли. Милости прошу в мои кошмары. Я всегда где-то снаружи, а не в автомобиле. Правда ведь странно? Хэккет с интересом наблюдал за мной. И я вдруг почувствовал вспышку давнишней болезни, которая случается со мной в минуты крайности и напряжения, принося дурноту, потерю опоры, раздвоение; на миг я становлюсь кем-то другим, прохожим, который вчуже, мимоходом заглядывает через оконце в глубь меня, но ничего не узнает в заурядной, таинственной жизни своего двойника.

— У него есть жена? — спрашивает Хэккет. Я не понял. — У Мордена, — пояснил он сочувственно и умело стукнул меня согнутым пальцем по коленке.

Дождь с шипением прекратился.

— Не знаю, — ответил я. Это была правда.

И тут вдруг, неизвестно почему, я ощутил прилив восторга, робкого и печального, но восторга. Очень странно. Хэккет тоже просиял. Он в быстрой последовательности провел пальцем за воротником рубашки, ухмыльнулся и подтянул на коленях брюки — три навязчивых движения подряд. Каким-то образом я попал в самую точку.

После этого мы расстались, как будто бы о чем-то между собой договорились и сейчас больше нечего обсуждать. «Пока, мистер М., — сказал Хэккет. — Удачи вам». Когда я вылезал из машины, он потянулся через сиденье и положил ладонь мне на рукав. «Мы еще потолкуем как-нибудь, — заверил он меня. — Непременно потолкуем».

Я медленно брел к дому по сверкающим улицам. Низко, над самыми крышами, в тучах образовался светящийся разрыв, но дождь уже припустил опять, вокруг меня падали тяжелые, литые капли, как брызги расплавленной стали. Иногда бывает, я чувствую себя пьяным, хотя сутками не брал в рот спиртного; вернее, не пьяным, а как будто бы я был пьян, но начинаю трезветь, сейчас фантомы и ложные перспективы, рожденные воздействием алкоголя, растают и оставят

меня, потрясенного, взирать на исправленную версию того, что я ошибочно считал реальным миром. Это состояние полной, совершенной ясности так никогда и не наступает, я продолжаю, спотыкаясь, брести дальше, обманутый и недоумевающий, проталкиваясь через толпу идейных трезвенников, а они, поджав губы, отворачиваются от меня с презрением и подбирают подолы. Я шел под дождем, и мысли мои взволнованно вращались вокруг одного предмета — вокруг тебя. В твоей власти было отодвинуть прочь все остальное, как одним взмахом руки освобождают заваленный хламом стол. Какое значение имел Морден с его картинами и Хэккет с его уликами рядом с тем, что сулишь ты? Ты понимаешь? — ты видишь, что я уже погиб и мне дела нет даже до снова распахнувшихся дверей темницы?

Как всегда, ты оставила в доме свою печать: он весь гудел твоим отсутствием, как рояль, когда со стуком опустят крышку. Я поднялся в комнату, которую уже считал *нашей* комнатой, и долго сидел на разложенном кресле-кровати прямо в мокром плаще, свесив руки между разведенных колен и глядя в окно на дождь, пляшущий по крышам. Я уже описывал вид, открывающийся из нашего орлиного гнезда? Шпили и решетки, и живопис-

но-ржавые пожарные лестницы, и огромный зеленый медный купол, похожий на кочан капусты; прямо под нами, на другой стороне улицы, был не видный с тротуара огороженный щитами пустырь; там иногда в сумерках можно было увидеть осторожно пробирающуюся по руинам лису с поджатым пушистым хвостом и поднятым по ветру носом; а дальше за пустырем вздымалось большое, солидное здание кубической формы — собор, или дворец собраний, или что-нибудь в этом духе; я никогда не мог его разыскать, спускаясь на землю. Я озяб. С трудом развернувшись — каменная статуя, поворачивающаяся на пьедестале, — я прошел гранитными шагами в тот угол, где были составлены картины. Разумеется, они были мне знакомы. Я мог закрыть глаза и отчетливо представить себе зияния на стенах в тех местах, где они раньше висели, — вроде головоломки-складыша, в которой не хватает нескольких кусков. Я их узнал — и в то же время не узнал. Удивительно, как рассудок умеет разносить по разным полкам даже близко связанные между собою предметы. Я возвратился назад и как был, в мокром плаще и ботинках, залез под одеяло, лег на бок, подложил ладонь под щеку и почувствовал, что веки мои слипаются, словно

сдвигаемые призрачными пальцами. Потом холод из моих костей постепенно вышел, и я лежал, окутанный собственными испарениями, дыша собственными запахами — смесью влажной шерсти, тела, пота и промокшей обуви.

Здесь память, этот хитроумный театральный режиссер, производит невероятную, волшебную смену декораций и с полным пренебрежением к обстановке, реквизиту и костюмам соединяет вместе два события. Все так же клонится к вечеру субботний день, и по-прежнему идет дождь, и так же, будто вспышка магния, сияет разрыв в тучах, и я лежу на свежих, шуршащих простынях на кресле-кровати; но только теперь я без одежды и А. в моих объятиях, тоже голая, или правильнее сказать — нагая, потому что она никогда не была просто голой, моя жемчужная, влажная голубка. То был, как принято выражаться, первый раз, все происходило очень целомудренно — не подберу другого слова — и словно рассеянно, мы смотрели будто бы со стороны и отчасти в сторону от странного, трудного действа, в котором соединялись наши тела; смотрели в сторону и слушали в недоумении отдаленные, слабые звуки не совсем узнаваемого мира. Да, первый раз, и в каком-то смысле — последний, больше никогда не повторя-

лось это восхитительное чувство обреченности, окончательности, завершения.

Что я запомнил? Слезы во внешних уголках ее глаз, слипшиеся ресницы; углубление там, где кончалась ее спина, припорошенное блестящими светлыми волосками; ямку внизу шеи — полную, с краями, крохотную чашечку, испитую мною до дна; внезапный взблеск бедра, белого, как рыбье брюшко, и толстую голубую артерию, по которой текла, пульсируя, ее жизнь. Она бормотала что-то себе под нос, я не мог разобрать слов, и у меня возникло жутковатое ощущение, будто с нами — кто-то третий, для кого она, задыхаясь, комментирует то, что происходит. Один раз она громко и внятно произнесла: «Нет», обращаясь не ко мне, а к себе самой, и вся напряглась, крепко зажмурив глаза и оскалив зубы, а я ждал над нею в тревоге, упираясь на руки, и они дрожали, как два натянутых лука, но постепенно это, что бы оно ни было, у нее прошло, она испустила хриплый, нисходящий вздох и прижалась ко мне вся, даже липким лбом ко лбу. А потом уснула.

И снова я лежу на боку, лицом к окну, за которым кончается дождь, а она спит у меня на руке, вздрагивая и посапывая, рука у меня онемела, но я лежу, не шевелясь, чтобы не потревожить

ее, и к тому же чувствую себя из-за этого героем, юным Тристаном, бессонно оберегающим свою ирландскую любовь; героем и глупцом, фантастическим, взволнованным, упоенным. Медленно во мне развертывается воспоминание далекого прошлого: как я ребенком летом во время каникул на берегу моря выхожу из павильона, где показывали кино, ожидая, что снаружи дождь, и туман, и клубящиеся тучи; а вместо этого оказываюсь в лучах умытого, ясного солнечного света, передо мною — взбухшее синее море, по морю, клоня алый парус, плывет яхта, держа курс на одетый дымкой дальний горизонт; и тогда, в единственный раз, в тот неповторимый, восхитительный миг, я почувствовал себя дома в приветливом, безмятежном и вечно хлопочущем мире.

Дождь совсем перестал, разрыв в тучах превратился в широкую полосу нежно-голубого неба, и А., вздрогнув, очнулась. Нахмурив брови, она смотрит на меня, будто не узнает, кто я. «Взгляни, — тихонько говорю я ей, — только взгляни, что мы сделали с погодой!» Она присмотрелась ко мне пристальнее, не уверенная, не шучу ли я, убедилась, что нет, и засмеялась.

Если я когда-нибудь все же возьмусь и напишу ту работу по философии, что покоится, я верю,

в околоплодной жидкости моего воображения, держа во рту пальчик, эта работа будет посвящена проблеме счастья. Да, именно счастья, хотите верьте хотите нет — этого самого таинственного, потому что самого эфемерного состояния. Знаю, есть люди — премудрые пруссаки в том числе, — которые утверждают, будто это вообще не состояние, в положительном смысле, а всего лишь отсутствие боли. Я с их мнением не согласен. Не просите меня сравнивать душевный настрой двух животных, одно из которых занято пожиранием другого; счастье, о котором веду речь я, не имеет ничего общего с когтями и клыками природы, это исключительное свойство человеческого рода, побочный продукт эволюции, утешительный приз для тех из нас, у кого недостало дыхания вырваться вперед во всеобщей гонке. Это сила, чье действие так нежно и мимолетно, что не успеешь его ощутить, как оно уже становится воспоминанием. Но это, бесспорно, сила. Она горит в нас, и мы горим в ней, не сгорая. Мне невозможно сейчас снова стать таким, какой я был тогда, припомнить — может быть, но не испытать заново блаженство тех дней; однако смятение, горе и боль не заставят меня отречься от того, что я чувствовал, каким бы

обманом и позором это ни выглядело сегодня. Я прижимал ее к груди, эту внезапно ставшую мне родной незнакомку, слышал толчки ее сердца и шелест ее дыхания и думал, что наконец-то я на своем месте, там, где, замерший и в то же время весь охваченный волнением, в лихорадке и погруженный в волшебный покой, я стану наконец тем, кто я есть.

А вот она, ходячее зеркало, в котором я поймал свое отражение, бедный, лупоглазый Актеон, чьи пятки уже предательски обнюхивают мои собственные собаки. Росту в ней пять футов два дюйма босиком, стоя босыми, душераздирающе маленькими розовыми ступнями прямо на полу. Бюст — тридцать четыре дюйма, талия… но нет, это бесполезно. В давние времена, когда я интересовался точными науками, меня особенно затрудняли измерения, подходя философски: разве может что-нибудь в этом неустойчивом мире замереть и простоять неподвижно, пока снимают мерку? (Я уже говорил это раньше? Ну и что с того?) И даже если возможно было бы добиться нужной неподвижности, что пользы от таких измерений за стенами лаборатории или анатомического театра? Старик Как-бишь-его был прав, все в мире — движение и огонь, и мы в

них вращаемся. В движении даже мертвые, они рассыпаются в прах и плывут, грезя о вечности. Думая об А., я представляю себе некое подобие танцующих божеств Востока, с длинными ногами, с множеством извилистых тонких рук, она кружится и мелькает, только лицо неизменно обращено ко мне. Она — богиня жестов и превращений. А я, я склоняюсь перед ней, зачарованный и раздавленный, и падаю челом на холодные камни, слагающие пол храма.

У меня в памяти целая пачка ее образов, точно фотографических снимков. Стоит вызвать один, и спазм блаженства и боли пронзает меня, как магниевая вспышка. Тона — от платиново-белого, через стеклянно-серый и металлический, до шелково-черных, кое-где с размывкой бледной сепией. Вот, например, взгляни на этот: я отвернулся от окна и вижу: ты лежишь на животе, опершись на локти, среди мятых простынь, одетая лишь в короткую атласную рубашечку, смотришь в сторону и куришь сигарету — все вокруг в пепле, разумеется, — колени раскинула, болтаешь ступнями в воздухе, и я с пресекающимся дыханием стою и смотрю на розово-рыжую смятую орхидею у тебя между бедрами и на туго свернутый бутон над нею, окруженный

маленькой короной бледно-чайного оттенка. Ты почувствовала мой взгляд, повернула голову, смотришь через плечо, улыбаешься улыбкой растленного младенца и в насмешливом приветствии весело шевелишь растопыренными босыми пальцами. Или вот, гляди-ка, другая картинка, помнишь ее? На этот раз у окна стоишь ты, босиком, в расстегнутом платье. Ты стоишь с закрытыми глазами, спиной к окну, затылком прислонившись к раме, согнув одну ногу и уперев ее пяткой в низкий подоконник, а руки скрещены под грудью, так что выкатились и обнажились два белых яблока — приношение. Я произношу твое имя, но ты не слышишь или слышишь, но не обращаешь внимания, не знаю, и тут вдруг, словно призванная, спускается с неба большущая чайка, много больше, чем я себе представлял, на трепещущих крыльях повисает прямо за окном, освещенная бронзовым октябрьским светом, и как будто всматривается сквозь стекло сначала одним агатовым глазом, потом другим; ты, почувствовав вещее присутствие, оборачиваешься, и как раз в ту секунду чайка с гортанным криком, приоткрыв клюв, устремляется дальше вниз, в темное ущелье улицы.

Сначала, в первые недели после того, как она

исчезла, я мучил себя мыслью, что не успел рассмотреть ее достаточно внимательно и близко, закрепить ее в рамке памяти, пока была возможность; но теперь, когда я успокоился (успокоился ли я?), я думаю, что вряд ли кому-нибудь еще на свете довелось быть объектом такого неотступного, сумасшедшего внимания, какое я посвящал тебе. Каждый день, когда ты появлялась (я всегда приходил первым, всегда), я обращал к тебе взор, исполненный такого трепета и неисчерпаемого изумления и такой жаркомолитвенный, что даже опасался, как бы ты не испугалась этого накала и не убежала от меня, от моей нужды, моего страха, моего мучительного счастья. Но ты-то, конечно, входила и глазом не моргнув, мой страдальческий страстный взор был не настолько огненным, чтобы ослепить тебя. Впрочем, все равно я всматривался в тебя пристальнее и видел тебя глубже, чем кто бы то ни было еще, раньше или потом. Я видел тебя, это главное. Видел тебя. (Или кого-то.)

У нас не было ночей; все, что между нами свершалось, происходило при дневном свете. О эти безмолвные оловянно-серые дни, смутный городской гул на улицах внизу, и шуршание дождя по стеклу, и наше дыхание, белое, как мысль, в

недвижном, выжидательно замершем воздухе под пожелтевшим, как старая кость, потолком. Она и вправду приспособила шторы на окно, коричневые, будто косматые шкуры, но они всегда свисали застывшими складками, потому что мы их не задергивали. Я хотел разглядывать ее в самом ясном свете, видеть ее поры и прыщики, и черные волоски, которые вставали дыбом под моей лаской; в особенности дороги мне были минуты, когда, обессиленная, засыпающая, она лежала, раскинувшись, поперек постели, размякшая, раскрытая, не помнящая ни себя, ни меня; я готов был сидеть рядом, подобрав ноги, обхватив колени, и рассматривать ее всю, дюйм за дюймом, от обкусанных ногтей до волнующе длинных растопыренных пальцев на ногах, и пожирая ее глазами, кусочек за кусочком, в каннибалическом упоении всех пяти чувств. Какая она была нежная, белая. Вся мерцала. Иногда, когда ей нездоровилось или перед менструациями, ее пористая, грубозернистая кожа возбуждала отвращение. Да, оно присутствовало всегда, в восторгах и в обожании, эдакая слабая, едкая атавистическая примесь, притаившаяся, точно заглушенная боль, но непременная, напоминающая. Это, я убежден, и есть секс, анестезия,

позволяющая терпеть прикосновения чужой плоти. И на таком основании мы возводим соборы.

По-моему, само это действие, акт, как его интересно именуют, ей не особенно нравилось, по крайней мере как мы это делали; нет, по-моему, ей был важен сопровождающий ритуал, увлекательная игра, определенная последовательность, пьяные посткоитальные речи. Возможно, это просто от обиды, задним умом, но сейчас мне вспоминается некоторая торопливость всякий раз под конец. Она садилась на постели и тянулась за сигаретами, отпихивая меня, словно ненужную больше хозяйственную вещь, складной стул, например, или гладильную доску, которую можно теперь задвинуть подальше и вернуться к серьезным занятиям. Вспоминаю один случай, когда я после завершающего пароксизма свалился, задыхаясь, ей на грудь и лежал, распластавшись, как медуза на песке, она ловко выскользнула из-под меня, подняла с пола оставленное недоеденное яблоко и преспокойно принялась за него снова, точно Ева, которую отвлекли от дела. Я не особенно бы удивился да и не особенно бы обиделся, если бы однажды, подняв голову от моих бессчетных и безнадежных попыток уйти в нее с головой (я

представляю себе актера, пытающегося влезть в великолепный, но слишком тесный костюм), я увидел бы, что она как ни в чем не бывало дымит сигаретой или листает какой-нибудь глянцевый журнал, на чьих страницах протекала одна из ее вымышленных, призрачных жизней. Я вовсе не говорю, что она была равнодушна или исполняла свою роль без достаточного вдохновения; просто ее, мне кажется, больше интересовали ремарки, чем сам текст. А вот речи, монологи — это другое дело. Она любила разговоры, бесконечные обсуждения. Высвободится из моих задышливых, пятиконечных объятий, приподымется и сядет, закутавшись, как киногероиня, в простыню, зажав под мышками верхний край, и требует от меня рассказа. «Расскажи что-нибудь, — просит, и острый кончик ее носа бледнеет от предвкушения. — Расскажи про свою жизнь». Я уклонялся. Но это не имело значения. У нее хватало фантазии на двоих.

Она лгала, разумеется, я знаю, но то, что она мне рассказывала (в отличие от того, о чем не говорилось), я вспоминаю не как ложь, а скорее как выдумки, импровизации, настоящие сочинения. Россказни свои она так часто, подышав на них, перетирала до блеска, что отдельные

подробности сгладились. Был рассказ о семье, преимущественно о матери. Эта таинственная женщина — которую А. упоминала не иначе как наморщив нос и скривив губы, — хотя и продолжала где-то жить своей зловредной и, по-видимому, полной жизнью, для своей дочери умерла. «И говорить о ней не желаю!» — бывало провозглашала она, отворачиваясь и поднимая отстраняющим жестом дрожащую руку с курящейся сигаретой; но тут же принималась, в который раз! — сдавленным голосом монотонно перечислять материнские злодеяния. Когда я впервые услышал про Мамашу, она была родом американка, из Саванны, или Луизианы, или еще какого-то созвучного уголка на Дальнем Юге, где увидела свет отпрыском старинного рода; в последующих пересказах, однако, место ее рождения передвигалось — сначала в Миссисипи, потом в Миссури и даже как-то однажды, если я верно расслышал, в Миссулу, которая, согласно моему атласу, представляет собой городок в Скалистых горах, что в северном штате Монтана, куда я, осиротевший Мельмот-Скиталец, собираюсь заглянуть в ходе своего кругосветного паломничества, в которое скоро отправлюсь на розыски моей утраченной возлюбленной. Но…

Миссула? Откуда ей было взять это название? Отец у нее, она говорила, швейцарец. Состоял — я уже слышал заранее, что она сейчас скажет — на дипломатической службе за границей, она росла где Бог приведет; и действительно, я часто слышал, как она во сне произносит какие-то вроде бы иностранные слова. (Между прочим, почему это, интересно, меня тянет к тем, кто неспокойно спит?) Насчет Папаши отпускались зловещие намеки; я рисовал его себе изысканным красавцем-брюнетом с гладким зачесом и шоколадными глазами, блистающим здоровым загаром и часами в бриллиантах и рассеянно ласкающим бледную девочку у себя на коленях.

Верил ли я ее рассказам? Разве это важно? Я валялся на нашем узком временном ложе в отупении блаженства, готовый часами слушать, как она что-то плетет, дымя сигаретой и ковыряя загрубелую кожу на пятке, иногда взглядывая искоса кошачьими глазами: какое она производит впечатление и как далеко еще можно зайти? В первое время, с непривычки, я иной раз робко указывал ей на какую-нибудь неувязку в том или ином сюжете, но она сразу же, надувшись, молча погружалась в себя, а я оставался за порогом, недоумевая и раскаиваясь и прижимая нос к

холодному стеклу. Ну конечно же, верил, я верил тебе — как ты могла сомневаться? О моя любимая обманщица, я верил каждому твоему слову!

Некоторые из ее наиболее диковинных утверждений и сейчас сохраняют для меня, в основе, определенный оттенок правдоподобия, хотя подробности и выглядят сомнительными. «Моя беда в том, — сказала она мне однажды, прищурившись, будто вглядываясь в какие-то темные внутренние дали, — что тут живет только моя половина». И сначала не хотела ничего объяснять, сидела, обхватив себя руками, раскачиваясь и мотая головой. Но я все-таки из нее вытянул: она, оказывается, одна из пары близнецов. Ее сестра-близнец родилась мертвой, крохотным белым трупиком, чью кровь высосала, чтобы выжить, энергичная А., когда еще была маленьким жадным эмбрионом. Мать не скрывала, что, по ее мнению, смерть сделала неправильный выбор и умер не тот младенец. Когда А. девочкой плохо себя вела, это Чудовище Миссулы, Пасифайя Плоскогорий, браня ее, ставила ей в пример маленькую П. (было уже выбрано имя и куплено два крестильных платьица). А. росла с постоянным смутным сознанием утраты. Она осталась жить и, как все, кто выжил, не могла,

сколько жила, отделаться от чувства вины и недостаточности. Кончив рассказ, она тогда обратила ко мне странно задумчивый взгляд. «Может быть, — проговорила она, — может быть, у тебя тоже был близнец, который умер, но тебе не сказали». Мы взялись за руки и долго сидели молча, прижавшись друг к дружке, как дети, напуганные собственными рассказами о призраках.

Были и другие призраки. Помню… Господи, иногда я не нахожу слов. Помню один непогожий вечер где-то в начале ноября, когда уже вернулись настоящие осенние бури. Дом весь, до самых глубин, содрогался под ударами ветра, и казалось, будто снаружи, в промытом, серо-стальном воздухе, весело взлетают и падают цилиндры, парики, вывороченные зонты. В такую погоду я всегда задумываюсь о далеком прошлом, как будто мое детство состояло из одних нескончаемых непогожих сумерек. Мы находились в продуваемой сквозняками ванной комнате, выходящей на площадку между этажами — единственной на весь дом, где работал водопровод и имелся унитаз со сливом. Трубы гудели, линолеум вспучился, газ в колонке над ванной время от времени ни с того ни с сего, тихо, зловеще *фукнув*, гас. Ветер, вздыхая, проникал через щелястую оконную

раму, в замочную скважину, из-под пола, и в воздухе колыхался пар, сгущаясь ближе к потолку, пронизанный восковыми лучами от голой лампочки, висевшей там, наверно, с тех самых пор, когда на Рю-стрит только провели электричество. Я мыл А. голову; нам нравились такие игры в семейную жизнь. А. в одной комбинации стояла, наклонившись над старой, выщербленной раковиной, изо всех сил побелевшими пальцами держась за края. Как сейчас вижу ее там: розовые уши, темная запятая мокрых волосков на шее, бледная кожа, плотно обтягивающая сложную конструкцию плеч, скользкая шелковистая спина, рассеченная пополам пунктирной линией позвонков. Она любила, чтобы ей мыли голову, говорила, что ей от этого щекотно и приятно. Она ежилась и жалась и переступала с ноги на ногу, пищала, негодуя, и вся передергивалась от удовольствия. А я, сжав зубы, стоял в неудобной позе, наклоняясь над нею. И вдруг мне представился мой сын. Наверно, это ее мокрая голова у меня под пальцами вызвала в памяти его образ. Ему я тоже мыл голову, вот так же неудобно наклоняясь над ним непогожими вечерами, давным-давно, когда он был ребенком, а я еще был его отцом. Должно быть, мои ладони помнили форму его

черепа, хрупкого и нежного, как птичье яйцо, и углубления на висках, словно вдавленные моими пальцами, и выпуклый затылок, где волосы всегда были свалявшимися от подушки. Я зажмурил глаза, во мне поднялась волна горечи, невыносимо жгучей желчи, и я, закачавшись, вынужден был присесть на край ванны.

А., я думаю, ощутила простреливший меня насквозь заряд горя — ее, наверно, дернуло, когда он заискрил на кончиках пальцев, — без слов обернувшись, встряхнув мокрыми сосульками волос, она взяла ладонями мою голову и прижала к груди. У нее под ключицами было такое умилительное костлявое веснушчатое местечко, и там я, приложив ухо, услышал дальний океанический шум работы ее внутренних органов. Горло мне сдавил спазм, всхлип, словно после пролитых слез, а не перед тем, как им пролиться. Потому что они пролились. О да, я до сих пор способен плакать, хотя теперь уже реже и не так обильно, как некогда. Было время, когда дня — или ночи — не проходило, чтобы горючие потоки не заливали мне щек. Но существует грань, предел эмоций, за которыми приходится сдавать, складывать свое — что? достоинство? самоуважение? взрослость? — получая взамен обморочное,

жутковатое удовольствие растворения в горе. Я нечасто переступаю эту грань. Правда, я плачу, но есть слезы и слезы. Дальше, за последним пределом, земля под ногами обрывается, и ты, медленно, беспомощно летишь вниз внутрь себя, и в падении не за что ухватиться, кроме охапок пустого воздуха. Она повела меня обратно вверх по лестнице (Господи, а вдруг бы мы встретили Мордена или его подручного?). Мы сидели на кровати, она держала мои руки в своих, и я выплакал ей мою боль. Крупные горячие слезы капали на наши сплетенные пальцы, в каждой слезе дрожало крохотное кривое отражение окна, за которым быстро умирал пронзительно серый день. Помню вой ветра, и где-то в вышине гулкие птичьи клики, и листья с сучьями, летящие в стекло, — хотя этого-то на самом деле быть не могло, там по соседству нет деревьев; может быть, правда, они отламывались от куста будлейи, растущего на пустыре за домом? У нас был двухспиральный электрический камин, памятник седой старины, который А. где-то откопала, тогда он светился у наших ног красным, злорадным накалом, напоминая мне торф в печах моего детства. Мне часто приходит в голову мысль забраться как-нибудь в дом Мордена — там, наверно, все осталось при-

мерно так, как было — и вытащить что-нибудь на память, тот электрообогреватель, например, или немытый стакан, или хоть клок пакли из щели между половицами, в нем могли остаться два-три ее волоса; конечно, чего на самом деле мне бы хотелось, это раскладное кресло; но даже в разгар самых горьких сердечных мук я не могу удержаться от смеха, когда представлю себе, как я, ругаясь не хуже настоящего скотогона и обливаясь потом, со стуком волоку вниз по бесконечным лестницам неподатливую, упрямую махину. И все-таки чего бы я не дал, чтобы сейчас упасть на него лицом и вдыхать плесневелый, ветхий родной запах!

Опять моя память шутит шутки, объединяя разные события, вот сейчас, например, я плачу, сидя рядом с А., и в то же время сижу в дешевом халате на голое тело (ее подарок), а она собирается куда-то, нарядившись в один из своих шикарных черных костюмов и в туфельки на острых, как иглы, каблучках, цоканье которых по деревянному полу до сих пор раздается в моих снах, все удаляясь и удаляясь. Помнится, она как будто бы была раздражена, рвалась убежать, — чужие слезы, даже самые искренние, трудно выносить. Мне и самому неловко, я всхлипываю, но мне уже

жарко и страшно, как бывает в переполненном автобусе, когда прижатый к тебе сосед начинает негодовать и скандалить. Я давно не плакал так просто, без притворства, от всей души.

— Я потерял его. — Слова вырываются вперемешку с рыданиями. — Он выскользнул у меня из рук и безвозвратно пропал.

А. сидела, глядя в пол возле моих босых ног, и молчала. Видно, встревоженный ее молчанием, я покосился на нее сквозь слюдяной блеск слез: у нее была хмурая скучливая мина человека, вежливо ждущего, когда же кончится знакомый и малоинтересный рассказ. Наверно, мне захотелось произвести впечатление, встряхнуть ее хорошенько. И к тому же еще оправдать свои слезы. И вот запеленатый в халат, с распухшим, в пятнах лицом и сжатыми на коленях руками, точно большой обиженный младенец, я рассказываю ей про мальчика, который родился больным и умер, и про жену, теперь уже архаичную фигуру матери Минотавра, а когда-то мы вместе бродили по свету, пока в один прекрасный день не обнаружили, что пресытились и миром, и друг другом, и я оставил ее или она оставила меня, и я предался свободному падению.

Не знаю, поверила ли она этой повести моих

бед, моей страшной небывальщине.

Но как приятно было рассказывать ей. Вечерний полумрак, кругом безмолвие, и рядом со мной — она, сидит и смотрит в сторону. Я снова нацепил на нее вуаль, похоже на решетку, решетку исповедальни, разумеется. Отпусти мне мои грехи!

Внизу на улице мальчишки-газетчики выкрикивали вечерние новости.

— Я знаю одного человека, — сказал я, — который убил женщину.

Она еще немного помолчала, глядя вбок из-под ресниц.

— Да? — говорит она. — И кого же?

— Горничную в доме богатого человека. — Это прозвучало как из сказки братьев Гримм: злой грабитель явился во дворец богатого человека, чтобы украсть картину, и когда на пути ему встретилась горничная, он ударил ее по голове и убил. — Его забрали, — окончил я рассказ. — Заперли в темницу, а ключ заставили проглотить. — И он по сей день ждет вызволения из той темницы.

Какая тишина.

Но почему я в халате, когда она явно пришла откуда-то снаружи? Я чувствую иголочки холо-

да, вытряхнувшиеся из складок ее жакета (три блестящие черные пуговицы, карман косой, и узкий бархатный воротничок; как видишь, я все помню), когда она встает и тюк-тюк-тюк отходит к окну, где замирает, скрестив руки и глядя на улицу. Иногда я вижу все это проще, словно бы чужими глазами, вижу Счастливую Долину сердца, где мне так хотелось бы хоть один часок погулять рука в руку, быть может, с моими умершими.

День пятится перед наступающим мраком. Я снова на том же месте, словно миг нескончаем. На улице глухо ревет ветер, окно дрожит, над сгорбленными крышами большие, темные, смутные тучи кипят, как грязные морские волны. Слезы мои высохли, лицо словно остекленело. В оловянном свете от окна А. превращается в темный камень, и голос ее, когда она заговорила, кажется искусственным голосом сивиллы. Она принимается рассказывать мне, как школьницей в Париже убежав из конвента, она как-то раз провела ночь в борделе и шла со всяким, кто хотел, их было двадцать или тридцать мужчин без лиц, она потеряла счет. Никогда она не осознавала себя так ясно и в то же время со стороны, не была такой свободной от самой себя и вообще от всего. В быстро гаснущем полусвете она плавно повела

по воздуху рукой. «Вот так, — тихо произносит она. — Совершенно свободной».

5. ПОХИЩЕНИЕ ГАНИМЕДА, 1620
Л. Э. ван Олбейн (1573–1621)

Медь, масло, 7 3/4 x 7'' (19,2 x 17,8 см)

Хотя ван Олбейн и не пользуется славой миниатюриста, его талант, как он ни скромен, с особенной, быть может, полнотой проявился в работах малого масштаба, в чем мы можем убедиться, глядя на эту маленькую, прелестно написанную сценку, редкостный экспонат в этом собрании редкостей. Что прежде всего бросается в глаза, это явное намерение художника избежать сентиментальности — намерение, приведшее, по мнению ряда комментаторов, к полному отсутствию *сантиментов,* переживаний, что, уж конечно, не входило в его цели — пример того, как вместе с водой выплескивают ребенка или, в данном случае, — отрока. Но такое суждение представляется ошибочным. Ван Олбейн в этой работе соединил свое искусство признанного мастера голландского жанра с элементами знаний, полученных в течение зимы, которую он провел в начале 1600-х годов в Венеции и Риме. Здесь за-

метны такие разные влияния, как Тинторетто — в смелой и драматичной динамике композиции; и Пармиджанино — в странной удлиненности фигур; тогда как почти неземная, возвышенная трактовка сюжета и мечтательное жизнелюбие предвосхищают небесноустремленные работы Гаулли и Тьеполо. В мягкости текстуры и в прозрачной тонкости красочного слоя можно видеть свидетельство того, что за время пребывания в Италии ван Олбейн усердно изучал также полотна Перуджино и Рафаэля. Замечательно выписанная фигура Ганимеда трактована одновременно и как изображение индивидуума, реального человека, юноши (рассказывают, что художнику позировал родной сын), и как отвлеченный символ отроческой красоты. Какое сильное впечатление производит сопоставление витальной грации юного человеческого существа во фригийском колпаке и плаще, перекинутом через плечо, и неумолимой силы дикой птицы, вцепившейся в него своими ужасными когтями! Могучий орел, рвущийся ввысь, с его злобным глазом, мускулисто выгнутой шеей и взмахом бронзовых крыльев, символизирует мощь и беспощадное величие бога. Этот бог — не Отец наш, иже есть на небесах, не хранитель наш

в облаках; это deus invidus, гневное божество, которое убивает наших детей, больше Танатос, смерть, чем Зевс-Спаситель. Хотя отрок крупнее птицы, у нас не возникает сомнений в том, кто сильнее, когти, охватившие тонкие бедра, держат осторожно, но мы ощущаем их неодолимую силу, а вскинутая рука Ганимеда выражает боль, утрату и покорность. Этот жест — одновременно и отчаянный призыв на помощь, и последний взмах прощания с миром смертных, откуда несчастного вырвала когтистая лапа. Напротив, отец Ганимеда царь Трой, стоящий на мшистой вершине Иды, выглядит слишком театрально. Руки его в беспомощной мольбе тянутся вверх, по щекам струятся слезы, но в его страдания как-то не верится. Он производит впечатление человека, который знает, что на него смотрят и что от него многого ожидают. Невольно задаешься вопросом: почему художническое чутье тут подвело автора? Не перестарался ли он, изображая отцовское горе, не добавил ли свою личную заботу, свое собственное переживание? Эти слезы, художник, кажется, писал их кисточкой об один колонковый волосок. Помнишь, я показывал их тебе через лупу? От твоего дыхания поверхность картины затуманивалась и снова светлела, сцен-

ка то меркла, то вновь проступала как из горных туманов. У тебя на щеке оказалась родинка, я ее раньше не заметил, из нее рос один-единственный волосок. «А ему-то что?» — сказала ты. Так что в тот день, любовь моя, мы с тобой сблизили головы в осенней дождливой тишине и на миг стали почти совсем такими, какие мы есть. Геба смотрит из облаков, как к ней возносится мальчик в когтях ее отца. Видит ли она в нем того, кто перехватит у нее место виночерпия на пиру бессмертных? В руках у нее золотая чаша, которую бог возьмет у нее, своей дочери, и отдаст смертному отроку. В конце все оказываются в проигрыше. Вскоре после создания этой миниатюры ван Олбейн, в горе из-за смерти любимого сына да еще, говорят, оставленный любовницей, выпил яду из золоченой чаши и умер в канун своего сорокавосьмилетия. У богов есть чувство юмора, но они не знают милосердия.

~~~

Больше даже, чем мои личные привидения, меня тревожила мысль о живых фантомах, обитающих в доме. Я все время боялся, что в один прекрасный день щелкнет и распахнется потайная дверь и кто-то застанет нас кувыркающимися на постели или запарившимися и обессиленно распластавшимися на полу с переплетенными ногами и руками. Я и сейчас диву даюсь, почему этого не было? А может, было? Может быть, Франси все-таки как-то заглянул к нам, но мы были слишком заняты, чтобы его заметить — я верю, что этот человек мог бы пролезть в самую узкую щелку, — и он тихо убрался восвояси, прикарманив нашу тайну? Он постоянно находился где-то поблизости, шнырял по дому, топал вверх-вниз по лестнице своей кособокой походкой. У него была пугающая привычка возникать неожиданно на каком-нибудь пороге или на темной лестничной площадке: кисть руки, глаз, ухмылка и такой причмокивающий звук, который он издавал губами, будто погонял лошадь. Еще он имел обыкновение в шутку отдавать мне честь
~~~

при встрече, подносил два пальца ко лбу и тут же лениво опускал руку. А еще он забавлялся тем, что изображал удивление, когда сталкивался со мной — останавливался как вкопанный, выпучив глаза и разинув рот в немом возгласе изумления и восторга. Однажды я его увидел вблизи нашей комнаты за поворотом коридора, с ним был Голл, живописец. Я думал, это идет А., и чуть было не окликнул ее по имени (ах эти нетерпеливые игры новоявленных любовников!). Он, должно быть, заметил испуг на моем лице и, осклабившись, остановился. Голл, тащившийся следом, чуть было не налетел на него, выругался и посмотрел на меня волком. Это был приземистый бородач с неправдоподобно большим брюхом, словно под его измазанной красками блузой засунута пара диванных подушек. У него были маленькие черные зоркие глазки и красный, как у клоуна, нос. Он держался скованно, чуть кренясь набок и отдуваясь, словно был слишком туго затянут в одежду, и от этого на все смотрел недовольно, с еле сдерживаемой враждебностью (как мне нравятся эти случайные карикатурные зарисовки!). Уже издали я почувствовал запах немытого тела и нижнего белья, которое давно следовало бы сменить. «Это еще кто?» — прорычал он. Франси

с издевательской изысканностью представил нас друг другу. «...А это Голл, — заключил он, — художник и, как и вы, мистер Морроу, ученый специалист». Голл хмыкнул, отвернулся и сделал неудачную попытку пнуть пса Принца, который стоял на лестничной площадке, подняв блестящий черный нос и поглядывая вокруг, словно окруженный стаей своих собратьев. Я вспотел от волнения, представляя себе, как сейчас по лестнице, опустив по обыкновению голову, взбежит А. и вдруг, завидев нас, остановится. Франси с удовлетворением наблюдал за мной. «У вас немного взволнованный вид, — сказал он мне. — Вы никого не ждете?» Голл уже спускался по лестнице. «Ну, что я говорил?» — сердито крикнул он снизу. Франси тронул меня за рукав. «Пошли выпьем с нами, — шепнул он. — Не обращайте на Голла внимание».

Мы спустились в большой зал, где я первый раз увидел Мордена. Деревянные козлы, или что это было, по-прежнему свисали с потолка на размочаленных веревках, и грязно-белое полотнище все так же опускалось складками из верхнего угла оконной рамы. На полу лежали тусклые трапециевидные пятна осеннего дневного света. Мы уселись на венские стулья, они

по-стариковски жалобно застонали скрипучими голосами. У Голла оказался глиняный кувшин с изогнутой ручкой, он просунул в нее большой палец, поднял кувшин на плечо и стал пить из горлышка щедрыми глотками, екая кадыком. Наконец оторвался, крякнул и отер губы тыльной стороной кисти.

— Хороша, а? — спросил Франси.

Голл протянул кувшин мне. Глаза у него заслезились.

— Самогонка, — хрипло уточнил он. — Хозяйка гонит в сарае.

Франси засмеялся:

— Нет, мистер Морроу предпочитает шампанское.

Под их взглядами я опасливо сделал глоток, стараясь не думать о слюнявых губах Голла на закраине горлышка. Безвкусная жидкость, только вспышка серебряного огня на языке и побежавший во все стороны ожог.

— Сейчас обратно выплеснет, — весело предостерег Франси.

Я передал кувшин ему, и он, умело приладив его на плече, тоже отпил из горлышка. Теперь глаза заслезились у меня.

— Из картошки, — похвалился Голл. — На само-

гон картошка лучше всего идет.

По-моему, я уже раньше говорил, что, к сожалению, всю жизнь питаю слабость к жизни низов. Эта склонность плохо вяжется с моим, как я считаю, в остальном вполне достойным, чтобы не сказать — патрицианским темпераментом. В давние времена, разъезжая по свету, я через час после прибытия на место уже безошибочно определял там чутьем самый грязный притон. Чем непристойнее заведение и чем безобразнее в нем публика, тем мне больше по вкусу. Наверно, привлекала опасность, это захватывающее дух трепетание под ложечкой, и подмывало переступить черту, немного запачкаться грязью этого жалкого мира. Потому что я никогда не ощущал себя там своим, напротив. Я до вечера (днем лучше всего) просиживал на табурете, облокотясь о стойку и держа в пальцах запотевший стакан льдисто-голубой ядовито-соблазнительной жидкости, и с восхищением и некоторой даже завистью наблюдал за людишками, которые в своей мелкотравчатой низости гораздо естественнее, искреннее, чем я когда-нибудь смог бы стать. Некоторых из них, преимущественно мужчин, отличала элегантная нервозная способность моментальной реакции на все, а я считал

это непременным свойством взрослого, бывалого мужчины. Есть и другой тип, характерным образчиком которого как раз и может служить Голл: весь — замкнутость на себе, неудовлетворенность и копящаяся в глубине души злость. К которому я бы хотел принадлежать? Наверно, к смеси того и другого? Или же ни к тому, ни к этому, а к какой-то третьей разновидности, еще гораздо более отталкивающей? Кувшин вернулся ко мне, и на этот раз я сделал от души большой, долгий, огненный глоток, а затем передал кувшин Голлу, широко улыбнулся и со скрытой иронией провозгласил: «За здоровье честной компании!»

Они обсуждали своего знакомого живописца по имени Паки Планкет.

— Да ну, он маляр, — утверждал Голл. — Маляр и больше ничего!

Франси подумал и кивнул.

— Но дело, однако же, делать умеет, — возразил он, подмигнув мне.

Рябое лицо Голла почернело.

— Маляр! — повторил он со страстью и яростно, звучно поскреб клочковатую бороду, больше походившую на разросшийся у него на подбородке лишайник.

Кувшин снова очутился у меня. Надо же, как он

быстро оборачивался. Мне припомнились рассказы о жителях Дикого Запада, сходивших с ума от самогона. У них мозги превращались в кашу и языки гнили прямо во рту. Умора да и только.

Я выпил за здоровье моих собутыльников, на этот раз провозгласив тост во весь голос. И рассмеялся.

Голл посмотрел на меня неодобрительно, буркнул:

— *Сланте*[6], — а потом спросил у Франси, указав на меня большим пальцем: — Кто он такой? Западный сакс какой-нибудь или кто?

Вскоре я заметил, что воздух загустел, стал вязким, и где-то в центре всего стучит медленный, гулкий пульс. Мне захотелось подняться, но я почему-то забыл, как это делается, не то что физически не в состоянии, а не мог мысль собрать и направить на это дело. Случай скорее интересный, чем огорчительный, и ужасно забавный. Я был словно гуттаперчевый мячик на резинке, которая, гудя, растягивалась, тянулась вверх по лестнице, в потайную комнату, где, я представлял себе, ждет меня А. — сидит, подобрав ноги, в изножье нашей постели, в уголке рта тлеет

---

[6] Примечания: 6
Ваше здоровье *(ирл.)*.

сигарета, один глаз прищурен от дыма, подбородок прижат к коленям — и греет ладонями озябшие босые ступни, моя девочка-обезьянка. Хотелось бы знать, еще когда ты была со мной, у тебя тоже бывали такие переходы от желания к скуке, которые меня так смущали? Иногда, даже прижимая тебя к груди, я вдруг чувствовал, что мне ужасно хочется оказаться где-нибудь в другом месте, остаться одному, освободиться. (Зачем я вспоминаю об этом, зачем пишу такие вещи, когда на самом деле мне хочется только одного: выть от боли так страшно и пронзительно, чтобы ты услышала, где бы ты сейчас ни находилась, и кровь в твоих жилах превратилась бы в воду.) В носу у меня защекотало, и я понял, немного удивившись и почему-то обрадовавшись, что сейчас расплачусь.

— Беда с моими работами та, — мрачно говорил Голл, — что лучшие из них никто не оценит по достоинству.

Франси хмыкнул. «Что верно, то верно», — согласился он, и пес у его ног поднял голову и посмотрел на него с укоризной.

Сорочьи глазки Голла затуманились, рябой нос из вишневого стал яростно свекольным.

Я великодушно поинтересовался, глотая непро-

литые слезы, какого рода работы он пишет. (Кажется, я тогда еще думал, что он тоже простой маляр.) Он бросил на меня еще один черный взгляд и не снизошел до ответа.

— С фигурами! — громко ответил за него Франси и изобразил ладонями в воздухе округлые формы. — Отличные вещи. Лесные сцены, девчонки в рубашонках. — Он шлепнул меня по колену. — Вы бы посмотрели, вполне в вашем вкусе. Можете мне поверить.

Голл оглянулся на него в негодовании.

— Заткни глотку, Франси, — выговорил он заплетающимся языком.

Я принялся им рассказывать о своей встрече с инспектором Хэккетом. На мой взгляд, это была ужасно смешная история. Я широко размахивал руками и уснащал свою речь остроумными выражениями. «Да ну? Ей-богу?» — переспрашивал Франси. Глаза у него смотрели в разные стороны, и когда он вздумал закурить, то рассыпал на пол всю пачку сигарет, а Голл рассмеялся во всю глотку. Раскочегарив наконец курево, Франси затих и задумался, кивая и подслеповато глядя мне в колени.

— С фараонами, выходит, дружбу водите? — произнес он в заключение, и мы все трое покати-

лись со смеху, как будто он отпустил остроумную шутку.

А через минуту, так мне, во всяком случае, показалось, я себе на удивление, бодро, хотя и не вполне твердо, шагал по Рю-стрит, размахивая руками и тяжело дыша. Тротуар был какой-то странно неровный, плиты норовили предательски накрениться, когда я хотел на них наступить. Я представления не имел, куда направляюсь, но направлялся туда очень решительно. Солнце с язвительным прищуром светило в глаза. На углу Ормонд-стрит, поблизости от того места, где А. со мной первый раз заговорила, был припаркован большой старомодный американский автомобиль бледно-розового цвета с хвостовыми закрылками и замысловато составленными многоэтажными задними огнями. При моем приближении дверца с водительской стороны отпахнулась, наружу по-балетному ловко вывинтился здоровенный детина и стал у меня на пути. Я, отдуваясь, остановился.

— Папаня хочет переговорить, — объявил он.

Только тут я узнал в нем того лупоглазого амбала, что стоял у калитки и грозно смотрел на меня в тот день, когда мы с Морденом ездили за город. В его облике было что-то знакомое — я и

тогда это заметил, — как будто под панцирным покровом каменных мышц пряталась его другая, более тонкая версия, призрачный нежный эльф, которого я уже видел где-то раньше. В этот раз на нем был дорогой темный, какой-то слишком просторный шерстяной костюм, как будто он его донашивал после старшего брата. В коротком бобрике рыжих волос поблескивали капли пота. Кулаки у него были сжаты и одна скула нервно подергивалась.

— *Ваш отец?* — удивился я.

Он лихо открыл заднюю дверцу и кивнул приглашающе. Я, наклонившись, заглянул внутрь. В автомобиле на заднем сиденье каменным идолом восседал тот жирный тип, который тогда, в пледе и клетчатой шотландской юбке, вышел нас провожать. На этот раз он был закутан в длинное теплое пальто с большим меховым воротником, на котором его крупная белесая заостренная кверху брыластая голова возвышалась, словно приставленная, чуть толкни, и скатится вниз. Крохотные жидкие глазки в сморщенных веках быстро оглядели меня, из складок пальто выбралась рука и предложилась мне.

— Как поживаете? — спросил он; это было не приветствие, а именно вопрос. Я ответил, что

поживаю очень хорошо. Рука его была мягкой, влажной и прохладной; он не торопясь, торжественно пожал мою, не переставая при этом меня разглядывать. — Папаня — это я, — сказал он. — Вы меня не знаете? А я вас знаю. Садитесь в машину, потолкуем.

Старые пружины подо мной взвыли, и я провалился так низко, что колени оказались чуть не выше плеч. В автомобиле сильно пахло нафталином, от его пальто, надо полагать. Солнечный свет за стеклами колол и резал глаза. Лупоглазый парень протиснулся за баранку и включил зажигание; но мы не сдвинулись с места. Я был по-детски разочарован, так хотелось с ветерком прокатиться в этой сумасшедшей старой колымаге. Лупоглазый повернул какую-то ручку, и заработал вентилятор, дунув нам в лицо горячим металлическим воздухом.

— Я очень страдаю от холода, — сказал Папаня. — Мне нужно, чтобы всегда было включено отопление, и то пальцы обмораживаю. Хреновое дело.

С этого началась наша беседа. Мы поговорили о здешнем климате и о том, как сладить с его неприятными свойствами, и откуда у Папани этот большой автомобиль, и насколько участи-

лись последнее время случаи самовозгорания среди пожилых жительниц города, и о характере Мордена («Как по-вашему, на него можно положиться?»), и о глупости полицейских (притом что Папаня — всем известный преступник, как он сам признал со скромной гордостью, им за столько лет удалось упечь его в кутузку всего один раз, в школьные годы, да и то только на шесть месяцев, за воровство в магазине), и о разных занятиях, которые помогают скоротать время в заключении, и о состоянии рынка картин, и о природе Искусства. Все это я нашел забавным и небезынтересным. Первоначально, рассказал он мне, он работал мясником, но уже очень давно не практиковался, поскольку теперь пошел по совсем другой линии. Я кивал — ну конечно, понятное дело; разговор двух бывалых мужчин. Не сомневаюсь, что он еще много о чем мне рассказывал, но я все сразу же забыл. Горячий ветер в лицо из обогревателя и слепящее солнце в ветровом стекле создавали обманное чувство движения вперед, как будто мы плавно катим по бульварам некоей шумной мировой столицы. По прошествии времени Папаня рискнул расстегнуть пальто, и я увидел, что он одет патером: в сутане до пят и при подобающем грязно-белом воротнике.

Он попросил, чтобы я рассказал ему об искусстве. Сказал, что только недавно занялся этим бизнесом — Лупоглазый на переднем сиденье хмыкнул — и нуждается в советах эксперта.

— Вот, например, эта, «Рождение… этой самой… как ее», что в ней такого, особо ценного?

— Редкость, — не раздумывая, тут же ответил я твердо и убежденно. Но лицо у меня почему-то одеревенело и руки никак не скрещивались на груди.

— Редкость, а? — переспросил он и повторил это слово еще и еще на разные лады, кивая и выпятив жирную нижнюю губу. — Выходит, и тут все как везде?

— Да, — уверенно подтвердил я. — Совершенно как везде, спрос и предложение, состояние рынка, и тому подобное. Полотен Воблена в мире совсем немного.

— Вот оно как? — покачал головой Папаня.

— Да, именно так. Всего штук двадцать в общей сложности, и редко какое из них по качеству не уступает «Рождению этой самой, как ее».

Тут мне вдруг представилось крупное мрачное лицо Мордена, и сквозь туман блеснуло далекое отрезвление. По спине пробежал холодок, словно порыв ветра по гладкой поверхности воды,

а там, внизу, ходили темные рыбообразные тени, тыкаясь носами. Папаня молчал и о чем-то думал, свесив подбородок на грудь, только пальцы его суетились и толкались у него в коленях, точно выводок поросят. Наконец он очнулся и слегка приобнял меня за плечи. «Хороший человек, — похвалил он меня, как будто я оказал ему большую услугу. — Хороший человек». И вытолкал меня, впрочем, не грубо, вон из машины. Я оказался на мостовой, а он, перегнувшись через сиденье, двумя пальцами весело осенил меня крестным знамением и рассмеялся квакающим смехом. «Да пребудет Бог с тобою, сын мой», — произнес он.

Я остался стоять, чуть накренясь, и смотрел, как большой розовый автомобиль свернул на Ормонд-стрит, выпустил из-под хвоста большой выхлоп и с ревом унесся. Возможно, что я даже помахал им вслед, слегка.

Тут я пришел к выводу, что необходимо еще выпить, и пошел к «Лодочнику». В конце концов, потыкавшись туда-сюда, я его отыскал. Внутри, после солнечных улиц, мне показалось очень темно и мрачно. Какой у нас месяц на дворе? По-прежнему октябрь? Буфетчик за стойкой, облокотившись, читал газету и одновременно

ковырял в зубах спичкой. Я поразмыслил над тем, что лучше всего ляжет на остатки огненной воды Голла, и выбрал водку, напиток, который я не люблю. Влив в себя три или четыре порции, я оттуда ушел.

Дальше следует период неясности и отдаленного гула. Я топал по улице как будто на деревянных протезах от самого бедра, в жилах у меня пузырилось, и в глазах через равные промежутки неприятно мерцало. Помню, на одном углу я остановился поговорить с каким-то человеком в кепке — кто это был, понятия не имею, — но толку от него не добился и, сердито ворча, побрел дальше. Высоко в небе клочок нежной, пронзительной и страстной синевы, вставленный между двумя узкими зданиями-башнями, как чисто протертое синее стекло, говорил о чем-то значительном и глубоком. Я опять увидел тропу через зимний лес, картину из моего детства, и уже готов был заплакать, но отвлекся. Потом купил себе рожок мороженого и, жадно сглотнув содержимое, забросил размякший вафельный конус в мусорный ящик за десять метров и так точно попал, что не удивился бы аплодисментам всей улицы. После этого встретил Франси и Голла, они ковыляли по-стариковски, и Принц

озабоченно следовал за ними по пятам. Шкура у него электрически отсвечивала, чуть ли не искрила. Франси вцепился в лацканы моего пиджака и что-то такое твердил, но я не понял. Подбородок его странно дергался, словно у него полон рот камней. Не знаю, что я ему ответил, но должно быть, что-то убедительное, так как он принялся причитать и трясти меня за грудки с удвоенной силой. Наконец Голл, ухнув, с размаху шлепнул его по спине, отчего Франси страшно раскашлялся, и они ушли. Принц еще немного задержался, выжидательно глядя на меня, наверно, ища во мне разгадку дикого поведения хозяина, но потом все-таки потрусил за ним. В один прекрасный день эта собака кого-нибудь укусит, вот посмотрите.

Когда я пришел домой (насчет дома я еще скажу несколько слов позже), в прихожей звонил телефон и, судя по настойчивой интонации, звонил уже давно. Я осторожно поднес трубку к уху. Телефон всегда внушает мне опасение: в его звонках слышится алчность и легкая истерия. На том конце провода уже вовсю говорили. Я подумал, что это миссис Хаддон. Во лбу у меня стучало, и я прислонил лицо к стене, чтобы немного прохладиться. *Этот дом. Меня хотят убить. Мне*

необходимо. Ты должен. Нет, не миссис Хаддон. Кто-то другой. Меня охватила тревога: я вдруг узнал тетю Корки. Голос ее гудел и дребезжал, будто со дна металлической бочки. Я попросил ее успокоиться, но она только еще сильнее разволновалась.

С грехом пополам мне удалось поймать такси, большой старый драндулет, он передвигался вперевалку, скользя из стороны в сторону, словно ехал юзом по петляющей замерзшей реке. Я сел посередине заднего сиденья, растопырив руки и упираясь ладонями в пластиковое покрытие. Справа и слева за стеклами вставали и заваливались здания, появлялись какие-то незнакомые любопытные люди, заглядывали внутрь и отлетали назад, как тряпичные куклы. Таксист был широкоплечий дядя в задвинутой на плоский затылок шляпе; он здорово походил на одного малоизвестного комического актера времен моей юности, но я не мог вспомнить, как его фамилия. За баранкой этот сидел, согнувшись в три погибели, чуть не касаясь носом лобового стекла. Он держался очень враждебно, и я в смятении подумал, что, может быть, усаживаясь, я сказал ему что-то оскорбительное, а теперь забыл. Мы плавными зигзагами выехали на приморское шоссе.

Солнце спряталось за прядями перистых облаков, над морем стояло мягкое, фантастическое сияние. Действие алкоголя понемногу проходило, в мое затуманенное сознание начал просачиваться разъедающий страх. Мысль робко вытягивала щупальца, и они, выбивая искру, прикасались к разным точкам: инспектор Хэккет, Папаня, его накаченный охранник, — и при каждом контакте я испытывал острый укол испуга.

Мы со скрежетом въехали наверх и, поскальзываясь, остановились у ворот «Кипарисов». Я вылез, представился в микрофон и услышал, как щелкнул, отпираясь, замок. Как здесь высоко, у самого неба. Чайка, зависшая над головой, издала хриплый, кашляющий крик, неприятно напомнивший мне гортанный смех Папани. У подъезда я попросил водителя подождать, но он стал отказываться и едва поддался на уговоры. Он остался, нахохлившись, сидеть за баранкой, с подозрением поглядывая на меня, пока я стучался у стеклянных дверей. На меня словно дунуло горячей золой — резь в глазах и вкус ржавчины во рту. Хаддоны ждали меня, стоя бок о бок в холле, он сутулый и настороженно смирный, она похожая на кролика и безжалостно трущая себе запястье. Я поневоле залюбовался ее стройными

ножками.

— Мистер Морроу, — приветствовала она меня. Иногда я раскаиваюсь, что выбрал себе такую фамилию.

— Да, да, — оборвал я ее, величественно подняв руку. — Я приехал забрать мою тетю.

Это было неожиданностью не только для них, но и для меня самого. С разгона я остановился и покачнулся. Хаддоны переглянулись, миссис Хаддон встряхнула головой.

— Ну и что, — сказала она. — Вам нет нужды разговаривать с нами в таком тоне.

«В каком это таком тоне?» — возможно, заорал я. Мы все трое помолчали минуту, не зная, куда податься, потом втроем разом повернулись и зашагали в комнату тети Корки. У самой лестницы, однако, мистер Хаддон ловко увильнул в сторону. Супруга на его исчезновение никак не реагировала. Она поднималась по ступеням впереди меня, беззвучно ударяя по ковровой дорожке мягкими подошвами. Эти ее стройные ножки…

Тетю Корки я застал за консультацией со священником. Отцом Фаннингом оказался молодой человек с усталым взглядом, худощавый, длинный и слегка сгорбленный; у него на голове торчал преждевременно поседевший кок,

который придавал ему сходство с вспугнутой, растрепанной птицей. Он носил круглый воротник священнослужителя и зеленый пиджачный костюм, а на ногах сандалии и носки цвета хаки. На меня он устремил проницательный взор и горячо пожал мне руку. «Ваша тетя мне о вас рассказывала», — сказал он с некоторым намеком. Тетя Корки всплеснула руками. «О, он ко мне так хорошо относится, отец! — воскликнула она. — Чудесно относится!» Отец Фаннинг сложил под подбородком ладони домиком, улыбнулся, кивнул, мигнул — совсем как актер, изображающий священника. Моя тетка, завернутая в шелковый халат с замысловатыми пламенными узорами спереди и сзади, сидела на краю кровати, а священник стоял против нее; вместе они изображали трогательную картину «Мать и сын». Тетя Корки была босиком, а вид ногтей на старушечьих ногах невыносим. Захлестнутый волнами отвращения, я мысленно бился, то всплывая, то погружаясь на дно. Но все-таки с тетей поздоровался ровным, укоризненным голосом, а миссис Хаддон, словно только того и ждала, выскочила у меня из-за спины и крикнула: «Мистер Морроу приехал забрать вас!» И все выжидательно смолкли. Я с ужасом осознал, что у меня уже нет

выхода из положения, в которое я сам же себя загнал. Разыгралась головная боль — молоток бил по затылку, раз за разом медленно, но упорно пригибая меня к полу. Я деловито спросил тетю Корки, готова ли она к поездке? Она подняла на меня растерянный, даже слегка панический взгляд. Но и тут подвернулась миссис Хаддон: «Готова, готова, и вещи уложены». — Она подскочила к шкафу, жестом фокусника распахнула дверцу и представила взорам пустые вешалки и на нижней полке — набитый и застегнутый саквояж. — Только засунуть ее в платье, и она ваша!»

Призвали сиделку Шарон, а нас с отцом Фаннингом выставили на лестницу, и мы остались ждать в церковных отсветах от разноцветного окна. Мне было неловко, досадно и жаль себя; хотелось ударить кого-нибудь. Я стал приглядываться на этот счет к отцу Фаннингу, но он, по-видимому, принял хищный блеск в моих глазах за сияние самодовольства, потому что еще раз кивнул, опустил веки и проговорил: «Да, да, это добрый поступок, достойный поступок». Я смотрел себе под ноги. Священник прибавил благоговейным полушепотом: «Вы хороший человек». Это было уже слишком. Я стал отнеки-

ваться, оскалив зубы и испустив львиный рык. Но он ласково и твердо тряхнул мой локоть и повторил, умудренно улыбаясь: «Да, да, это так. Хороший человек». Потом воздел вверх указательный палец, я уж было подумал, что сейчас он приложит его к носу в знак насмешки; но он указал выше, и в его улыбке появилось что-то маниакальное. «Судить не нам, а Тому, Кто над нами», — была его заключительная реплика. «Вот как? — отозвался я. — В таком случае да поможет мне Бог». Он озадаченно вытаращил глаза, отважно держа улыбку.

Тут дверь открылась, и на площадку нетвердой царственной поступью вышла тетя Корки, под обе руки ее поддерживали Шарон и миссис Хаддон. На ней была толстая меховая шуба в проплешинах и кокетливо сдвинутая набекрень шляпка с черной жесткой вуалью (настоящей вуалью, ее я не присочинил). В этой шубе она сильно и почему-то неприятно напоминала моего ободранного любимого мишку из далекого детства. Она взглянула на отца Фаннинга, потом на меня. Губы у нее дрожали, словно она опасалась, что мы над ней смеемся. Медленно, как похоронная процессия, мы спустились по лестнице, впереди дамы, за ними священник и позади

всех я, мы с отцом Фаннингом — понурив головы и сцепив руки за спиной. В холле столпилось несколько рассеянно суетливых старушек, пожелавших проститься с тетей Корки. Я разглядел среди них мисс Лич в шелку и шарфах, но на этот раз я как будто бы не показался ей знакомым. Старушки возбужденно шептались, им, наверно, непривычно было видеть, как кто-то из их числа покидает это узилище, и не только в уме, но даже в вертикальном положении. На крыльце тетя задержалась и удивленно и недоверчиво обвела взглядом газон, и деревья, и вид на море, словно подозревая, что все это только нарисовано на холсте для ее спокойствия. Таксист неожиданно проявил внимание, даже вылез из машины и помог мне устроить старушку на пассажирском сиденье; может быть, ему она тоже напомнила кого-то истрепанного и дорогого из прошлой жизни. Она сняла шляпу с вуалью, прочла надпись «Не курить» на приборном щитке и принюхалась. Тут появился мистер Хаддон с теткиным саквояжем, и водителю пришлось снова выйти, чтобы затолкать его в багажник. Мы тронулись под канонаду дребезга и выхлопов, и мистер Хаддон медленно отступил, точно выбил колодки и спустил на воду большой корабль. На крыльце вяло

махали руками древние менады, а миссис Хаддон стояла в стороне, и вид у нее был обиженный и злой. Выбежала сестра Шарон, стала стучать в окно, говорить что-то, но тетя Корки не знала, как опустить стекло, а шоферу девушка была не видна, поэтому мы уехали, а она, растерянная, осталась стоять одна, кусая губы и улыбаясь, и позади над ней нависал большой, несуразный, весело раскрашенный дом. «Не оглядывайся!» — сердито приказала мне тетя дрожащим голосом и втянула голову в меховой воротник. *Боже милосердный,* — думал я, ломая руки. — *Что я наделал!*

Удивительно, как знакомое в один миг может стать незнакомым. Мой дом, как я его называл, с первого же взгляда на тетю Корки нахмурился, надулся и так до сих пор еще и не пришел в себя. Я чувствовал себя гулякой-мужем, вернувшимся после ночи на окрестных крышах под ручку со своей цыпочкой. Я живу на четвертом этаже в узком старом обшарпанном доме на улице, вдоль которой растут в два ряда деревья и горланят неутомимые воробьи, на одном ее конце стоит церковь, а на другом — светло-желтый таинственно немой монастырь. Квартира мне досталась по наследству от другой, настоящей, тетки, которая

однажды летним воскресным вечером тихо скончалась здесь, сидя одиноко у раскрытого окна. Тебе, я надеюсь, небезынтересны эти подробности. В квартире две большие неуютные комнаты, одна окнами на улицу, а другая — на узкий, злокачественно заросший задний двор. Имеется кухонька в отгороженном углу и ванная комната на один лестничный марш вниз. Мне бы надо было тебя сюда привести, привести хотя бы один раз, чтобы ты все посмотрела и оставила свои отпечатки пальцев. Другие жильцы… нет, ну их, других жильцов. На лестнице стоит замерший коричневый торшер, и повсюду сладко пахнет застоявшимся воздухом. Дом у нас тихий. Днем, несмотря на доносящиеся шумы уличного движения, можно, если прислушаешься, расслышать слабое, сухое стрекотание пишущих машинок в соседних учреждениях. Впрочем, теперь эти симпатичные машинки, всегда приводившие мне на ум автомобили на тележных колесах и музыкальное сопровождение фильмов в кинотеатре, все больше заменяются компьютерами, чьи клавиши постукивают, как зубы во вставных челюстях. Я люблю здесь, вернее любил (твой уход лишил все вещи вкуса и запаха) большой, никому не нужный буфет, черный, графитно

лоснящийся круглый стол, обеденные стулья, застывшие настороженно, как лесные звери, испуганные зеркала, ковры, до сих пор хранящие запах умерших кошек моей умершей тетки. Эти комнаты живут своей тайной жизнью. Кажется, будто в них все время что-то происходит. Когда я вхожу в ту или другую неожиданно — а кому тут меня ожидать? — у меня всегда такое ощущение, как будто я прервал некую таинственную, нескончаемую деятельность, которая немедленно возобновится, как только я уйду. Ощущение такое, словно живешь в больших, слегка развинченных напольных часах. Тетя Корки, когда мы наконец одолели третий лестничный марш — тем временем уже наступил вечер, — огляделась в последних отсветах дня и сказала: «Ах, Берлин!» И сразу же квартира, точно капризный ребенок, повернулась спиной к ней и ко мне.

Я уже так устал и впал в такое отчаяние, что казалось, сейчас от меня, как от снеговика, останется только мокрое место на полу. Я зажег для тепла газ (он сердито вспыхнул: *Фу!),* усадил возле него тетю Корки как была в шубе и, перейдя в спальню, сменил простыни на моей постели; накрахмаленные, они разворачивались с треском, похожим на дальний гром. Управившись, я на

миг высунулся из окна охладить разгоряченный мозг. В зимних сумерках трава во дворе казалась серой, безжизненной, поникшей. Я не узнавал сам себя. (А разве я когда-нибудь знал себя?) Для того и существует дом — чтобы успокоиться и не терзать себя неразрешимыми вопросами; я оказался в оккупации, и внешние сомнения просачиваются, точно туман, в каждую щель.

Тетя Корки устроилась на новом месте в два счета, наверно, призвала на подмогу давно забытые навыки беженской жизни. Заняла под свое гнездо угол с кроватью, а одежду развесила на спинке стула и на вешалке для полотенец, которую выудила из какого-то чулана. Я старался смотреть в сторону от выставленных на обозрение старческих тряпок; я всегда стеснялся нижнего белья. А ее, конечно, наша вынужденная близость нисколько не смущала. Например, проблема уборной. В тот первый вечер мне пришлось свести ее под руку по лестнице, с остановкой на каждой ступеньке, а потом стоять за дверью, мыча какую-то мелодию, чтобы не слышать, как она облегчается. Потом она вышла, посмотрела на лестницу, по которой ей предстояло подняться, и покачала головой, причмокнув губами, — знак, который, по моим понятиям, выдавал в ней ино-

странку. Я с ужасом подумал о ночных горшках и еще кое о чем похуже. Но на следующий день, не посоветовавшись со мной, она реквизировала на кухне низкую кастрюлю без ручки, поместила под кроватью и каждое утро начинала с того, что выливала содержимое с высоты четвертого этажа через окно во двор. Я с замиранием сердца ждал, что жильцы первого этажа начнут жаловаться, но они ничего не говорили; интересно, как они себе объясняли ежеутренние желтые потоки, с брызгами низвергавшиеся на землю под их кухонным окном? И с другими проблемами она тоже справлялась. Ей нравилось готовить себе пищу, особенно жарить яичницу из взбитых яиц. Она даже умудрялась устраивать постирушки в раковине на кухне; вечером возвращаясь домой, я обнаруживал то пару-другую шелковых трико древнего образца — бабушкино наследство, надо думать, — то истекающие каплями чулки в совершенно плачевном состоянии, развешенные над газовой плитой на бельевой вешалке, о существовании которой даже не подозревал; и все четыре газовые горелки полыхали на полную мощность. (Беспокоиться насчет того, как она обращается с газом — или насчет ее привычки курить в постели, если уж на то пошло, — у меня

руки не доходили.) Что до болезни, чем уж она там болела, то почти никаких симптомов заметно не было. Кашляла правда много — я представлял себе ее легкие в виде эдаких резиновых ошметок, вроде лопнувших футбольных камер, — и сквозь дымовую завесу ее духов проникал стойкий неприятный запах, отталкивающий, как зубная гниль, только еще противнее, я считал его естественным зловонием смерти. А лицо у нее было примерно такое, какое я теперь иной раз по утрам вижу в зеркале: напряженный, слезливый взгляд, обвислая кожа, недоумение и испуг перед разрушительным действием времени. Спала она мало, мне даже казалось, что вообще никогда. Ночами, лежа в гостиной на диване, искривив шею на одном валике и вдавив подошвы в другой, я слышал, как она по-мышиному шуршит и возится в спальне, ходит туда-сюда всю ночь напролет, дожидаясь, должно быть, зари, когда в щели между шторами просунутся наконец бледные пальцы первого света. Что плохо себя чувствует, она никогда не жаловалась, хотя бывали дни, когда она не поднималась, а оставалась лежать под смятыми простынями, лицо отвернув к стене и вцепившись пальцами в край одеяла, словно это медленно задвигающаяся

крышка, и нужно напрячь все силы, чтобы она не закрылась окончательно. В такие скверные дни я иногда приходил днем, прямо от тебя, весь переполненный, пропахший тобой, и сидел возле нее. Она ничем не показывала, что знает о моем присутствии, но я чувствовал, что она его ощущает. Это было все равно как находиться рядом с живым существом другого вида, чьи безмолвные муки происходят в иных, недоступных мне сферах. Я держал ее за руку, вернее сказать — это она держала за руку меня. Мгновения эти были неожиданно мирными — для меня. Свет в комнате, цвета старой жести, напоминал мне детство. Я видел такие же предвечерние сумерки в далеком прошлом и себя ребенком у окошка, за которым гаснет день, и в высоких голых деревьях устраиваются на ночь грачи, и дождик сеется с неба тихий, как само время. И этот дождь… когда он припускал сильнее, тяжелые капли танцевали на блестящем асфальте, и мне они казались толпой одновременно кружащихся маленьких балерин; это было, наверно, первое художественное сравнение, которое я придумал.

Явился с визитом отец Фаннинг в зеленом костюме и сандалиях, с поднятым гребнем молодой седины, похожим на вопросительный знак. (Бой-

скаут — ну конечно! Вот кого он мне напоминал.) Тетя Корки была ему не рада; ее интерес к Богу и всему божественному не пережил переезда. Она слушала его молча, нетерпеливо, развешивая транспаранты дыма над его головой, пока он серьезно и доброжелательно толковал о погоде и о Божьей милости; можно было подумать, что это совершенно ей чужой человек, с которым общались на отдыхе, поддерживали отношения из вежливости, а он бестактно явился незваным в дом, рассчитывая на возобновление знакомства. Разочарованный, он вскоре смолк и печально раскланялся. Внизу он попытался было еще раз объяснить мне, какой я хороший человек, но я, делая вид, будто дружески похлопываю его по плечу, вытолкал его на улицу и захлопнул за ним парадную дверь.

Так тетя Корки стала еще одной нитью в толстой, просмоленной, ужасающей веревке, в которую свивалась моя жизнь. Просыпаясь по утрам, я стал ощущать в груди давящий узел беспокойства и на минуту или две замирал, глядя в потолок, пока мысленно его не распутаю. Подвешенный в петле страха, я раскачивался между инспектором Хэккетом со всем, что за ним стояло, с одной стороны, и Морденом и Папаней,

с другой. Да, страха; но и еще чего-то большего: какого-то неопределенного ощущения, как будто бы существует совершенно иное истолкование всему тому, в чем, мне казалось, я отлично разбираюсь; какой-то другой мир, параллельный этому, где другой, умудренный *Я* неустрашимо сражается с ужасными фактами, о которых здесь могу только догадываться. И при этом меня еще мучило подозрение, что кое для кого я — не более чем объект насмешек, человек с завязанными глазами, который беспомощно топчется, протягивая руки, в хохочущей, пляшущей толпе. Морден держался уклончиво и в то же время не стеснялся рубить сплеча. «Я слышал, нами интересуется полиция», — сказал он мне однажды, улыбаясь по-акульи, углами рта вниз. Я посмотрел на него, разинув рот, тоже как рыба, но другая. Я встретил его утром на Ормонд-стрит — он шагал сквозь толпу, полы его пальто развевались, концы красного шелкового галстука бились за плечом. Я его часто теперь встречал вот так же шагающим без цели, лениво, со скучливым, угрожающим видом и с неживым выражением во взгляде. При этом он замедлял шаги, останавливался, устремлял взгляд на конек крыши отдаленного здания и заговаривал неопределенным, рассеянным тоном,

как будто продолжая давно начатый разговор.

— Полиция? — крякнул я со страху, словно утка на болоте.

Мы шли по Рю-стрит. Был ветреный ненастный день.

— Да, — равнодушно подтвердил Морден. — Франси говорит, к вам заглядывал шпик. — Он покосился на меня без всякого выражения. — Любите парней в синей форме, м-м?

Мы подошли к дому. Морден стоял и смотрел, как я достаю ключ и отпираю дверь. Я словно слышал беззвучный издевательский смех. Иметь дело с Морденом — все равно что управляться с неподъемно тяжелым, гладким, скользким мешком, вдруг сваленным тебе на руки. Он стоял и ждал, склонив набок голову, что-то прикидывая и посматривая на меня. Дверь открылась, дом затаил дыхание. Морден ухмылялся.

— Вы, как я слышал, и с Папаней познакомились, — сказал он, схватил меня за рукав и нетерпеливо дернул. — А ну, расскажите-ка нам, кем он был наряжен?

Я нехотя описал ему костюм Папани. Он громко хохотнул, как взлаял.

— Священником? — У него за спиной ветер вздул мусор и клочки бумаги и закрутил в смерч

над мостовой. — Ну и тип! — Он покачал головой. — А знаете, он как-то раз с человека заживо кожу содрал, выдубил и отослал жене. По почте, бандеролью. Клянусь Богом. — Он прошел мимо меня в двери, пересек холл и стал подниматься по лестнице. Но через несколько ступеней остановился, держась за перила, и снова обернулся ко мне. — Не обращайте внимания на Папаню, — доброжелательно посоветовал он мне. — Ни малейшего внимания не обращайте. — И мыча какой-то мотивчик, пошел дальше, однако остановился опять, свесился через перила и добавил с ухмылкой: — «Полицейские и воры», вот что это такое, и больше ничего. — Он сам себе одобрительно рассмеялся, повторил, топая по ступеням: — «Полицейские и воры», можете мне поверить! — и скрылся за поворотом лестницы.

Так что видишь, как обстояло дело. О да, я боялся, я уже говорил, но это была такая разновидность страха, с жаром и замиранием, которая почти всегда кажется скорее просто предвидением. Во мне постоянно сидит какой-то хихикающий черт, которому непременно нужно, чтобы случилось худшее. Помню, я раз видел кинохронику про катастрофическое наводнение в каких-то краях, и там показали одного до ужаса

тощего типа в тюрбане и набедренной повязке, который, сложив руки на животе, плыл по водам в жестяном корыте и блаженно улыбался в камеру. Вот и я точно так, сижу себе, беспомощно поджав колени к груди, и радуюсь, а меня несет течением, и мимо проплывают, кружась в водоворотах, ободранные древесные стволы и вздутые трупы. Если картины подлинные, значит, они украдены, и меня могут арестовать за то, что я имею к ним отношение. Это ясно как день. Однако я больше всего боялся не тюрьмы, а того, что могу потерять тебя. (Нет, это неправда, для чего лгать? Мысль о тюрьме приводила меня в совершенную панику, стоило подумать о ней, и ноги подкашивались, я должен был сесть, прижав ладонь к сердцу, и ждать, пока перестану задыхаться.)

Я никогда не умел играть в умные игры. Ты хотела меня научить, я верю, конечно, хотела. Иногда я ловил на себе твой взгляд, такой задумчивый, прикидывающий — на губах улыбка — не улыбка, голова вполоборота, одна бровь вздернута, — и я думаю теперь, что это были мгновения, когда тебе становилось меня жалко и ты готова была подвести меня к нашему ложу, усадить и сказать: *Ну ладно, слушай, я сейчас тебе объясню, что происходит…*

Но нет, ты бы поступила иначе. Ты бы выпалила все разом и расхохоталась, тараща глаза и прикрыв рот ладонью, и до меня смысл того, что ты сообщила, дошел бы только какое-то время спустя — если бы вообще дошел. Я тебя никогда не понимал. Я ходил вокруг тебя, морща лоб и потирая подбородок, словно ты — задачка по перспективе, загадочная картинка, вроде тех, что рисовали голландские миниатюристы, раскрывающая свою тайну, только если смотреть из определенной, самой неподходящей точки. Я был очень смешон? Я повторяю еще раз, мне наплевать на все остальное, что меня обманули, что сделали из меня дурака и подставили так, что мне опять грозит тюрьма; для меня важно только, что ты обо мне думала, думаешь. (Думай обо мне!)

Игры придумывала она, она была распорядительница развлечений. А я ковылял за ней по пятам, волоча свой жезл и свиной пузырь, торопясь и спотыкаясь, только бы не отстать. Затевала же все она. Дверной глазок, например, купила она. Принесла его в тот самый день, когда был найден третий труп. Он был подвешен за ступни к парковой ограде, а горло перерезано так глубоко, что голова почти отвалилась (Газеты тогда

уже придумали для убийцы прозвище: Вампир.) Она вошла, отряхнула дождевые перлы с подола черного пальто, и я сразу почувствовал ее возбуждение — когда она в таком состоянии, воздух вокруг нее хрустит, шуршит, словно заряженный электричеством. Бросив пальто и сумочку на пол, она плюхнулась на постель и протянула мне кулак, улыбаясь стиснутыми губами, вне себя от счастья. Мое сердце. «Смотри», — сказала она, медленно разжав пальцы. Я взял у нее с ладони медный бочоночек и обрадованно, недоуменно оглядел его со всех сторон. «Ты в него загляни, — наставила она меня. — Он вроде рыбьего глаза». Я засмеялся. «Ну, и как его приладить?» Она выхватила у меня свое приобретение и стала осматривать сквозь него комнату, прищурив один глаз и приподняв губу над острым маленьким клыком. «Что значит как? Дрелью. А ты что думал?»

Я мастеровитостью не отличаюсь. Она закурила сигарету и, сидя за моим столом, наблюдала за работой, посмеиваясь и отпуская язвительные замечания. После длительных раскопок я, весь издергавшись, нашел в подвале древнюю ручную дрель, хилый памятник времен первобытной хирургии, и этим инструментом провертел в

фальшивой стене отверстие на высоте колена, как мне было указано. Вопросов я не задавал, таково было первое правило во всех наших играх. Когда я наконец ввинтил в дырку медную трубочку, А. встала и вышла за дверь для испытаний. (А кстати, как насчет той прорехи в штукатурке, сквозь которую она будто бы впервые передо мной мелькнула? Должно быть, заделали.) Она возвратилась раздосадованная. «Не тем концом ты вставил, — сердито сказала она. — Это же чтоб смотреть внутрь, а не изнутри! — Она вздохнула. — Ни на что ты не годишься. Вот послушай».

У нее все было продумано. Скажем, если мы уславливались встретиться в двенадцать часов, я должен был прийти в половине двенадцатого, тихо пробраться к глазку и, став на колени, в течение получаса наблюдать за нею, находящейся в комнате; затем, ровно в полдень, мне полагалось так же бесшумно уйти и вернуться, громко топая по коридору, как будто я только что вошел в дом. Однако иногда я не должен был приходить заранее и подсматривать в глазок; и не должен был сообщать ей, в какие дни я подглядывал за нею, а в какие нет; так что она не могла знать наверняка, находилась ли она под наблюдением в те полчаса до моего официального прихода, или

же исполняла свои роли вхолостую, без публики.

Я, разумеется, делал все, что мне было велено. И какое странное, стыдное удовольствие испытывал, когда пробирался по коридору на цыпочках — а иногда даже и вовсе на четвереньках, — с замиранием сердца прижимал глаз к холодному стеклышку и заглядывал в комнату, залитую шелковистым сиянием и всю закругленную в виде чаши, а в ней, в середине, — А., пузатый идол, с крохотной головкой и маленькими ножками и сложенными огромными ладонями на толстом животе. Я всегда заставал ее в таком положении — недвижно сидящей и глядящей в одну точку, словно уменьшенная Алиса в ожидании, когда подействует волшебное питье. Потом понемногу, рывками, она приходила в движение, делала глубокий вдох, распрямляла плечи, запрокидывала голову, глядя куда угодно, лишь бы не на глазок в стене. Движения ее были скованы, но при всем том грациозны и исполнены какой-то искусственной выразительности, похоже на марионетку, которую дергает за веревочки умелый кукловод. Встав, она подходила к окну, широким жестом протягивала руку, будто приветствуя важного гостя; улыбалась, кивала или, наоборот, склонив голову набок, почтительно слушала, а иногда

даже шевелила губами, словно что-то беззвучно говорила, подчеркнуто артикулируя, как некогда героини немого кино. Потом снова садилась на постель, усаживала рядом своего невидимого гостя, подавала чай, с улыбкой протягивая чашку ему (что это мужчина, не возникало ни малейших сомнений), жеманно опустив взгляд и прикусив нижнюю губку. Эти живые картины всегда начинались в тонах светской любезности, но понемногу, у меня на глазах, пока я неуклюже переминался с одного затекшего колена на другое и смаргивал набежавшую от напряжения слезу, в них появлялось что-то угрожающее: А. хмурилась, отшатывалась, отрицательно качала головой, хватала сама себя за горло, поднимала колено. Кончалось же тем, что пересиленная, с сорванной одеждой, она падала на спину и оставалась лежать — грудь обнажена, одна рука откинута и голая нога вытянута во всю мерцающую длину до самого смутно темнеющего лона. И я вдруг слышал собственное шумное дыхание. В такой демонстративной позе она лежала минуту или две, праздно крутя прядь волос у себя за ухом, пока соборный колокол не начинал отбивать полдень, и я тяжело поднимался и прокрадывался обратно на лестницу, здесь, как мог, приходил в

себя (до чего громко бьется человеческое сердце), возвращался по коридору, громко откашливаясь и напевая, и входил в комнату веселый, а она к этому времени уже сидела паинькой, плотно сжав колени и сложив ладошки, и встречала меня смущенной похотливой улыбочкой.

Интересно, придумывала ли она эти представления загодя или же импровизировала по ходу дела? Меня всегда поражало, как точно она знает, чего хочет. Она командовала словами, жестами, положениями — всем замысловатым обрядом этой литургии плоти. *Свяжи мне руки. Поставь меня на колени. Завяжи мне глаза. Теперь подведи меня к окну.* И я, страдая и возбуждаясь, вел ее, как лунатика, босую, с глазами, завязанными ее чулком, и ставил лицом к слепой стене.

— Здесь окно?

— Да.

— На улице есть люди?

— Да.

— Они на меня смотрят?

— Пока нет.

Стена была побитая, в царапинах и разводах, на ней виднелось пятно высохшей протечки, похожее на силуэт Северной Америки. Пальчики А. дрожали в моей ладони. Вот теперь, говорил я

ей, теперь они тебя заметили. И так велика была сила ее воображения, что у меня перед глазами на стене начала проступать уличная сцена в сером свете ноябрьского дня: остановившиеся автомобили и столпившийся народ, в молчании задравший головы. Она сдавила мне руку; я знал, чего она хочет теперь. Как послушный ребенок, она подняла руки над головой, я, нагнувшись, взялся за подол ее шелестящей шелковой комбинации, медленно потянул кверху и снял через голову. Она осталась голая. На белую стену упали блики от ее груди и живота. Она слегка дрожала.

— Ну что, они увидели меня?

— Да, увидели. Все смотрят на тебя.

Вздох.

— А теперь что они делают?

— Смотрят и показывают на тебя. А некоторые смеются.

У нее перехватывает дыхание.

— Кто? Кто смеется?

— Двое мужчин. Двое рабочих в комбинезонах. Указывают на тебя пальцами и смеются.

Она дрожит и сухо всхлипывает. Я пытаюсь обнять ее, но она стоит как каменная. Кожа у нее посерела от холода.

— Почему ты так со мною поступаешь? — тихо

говорит она. — За что?

И горестно вздыхает. А потом, когда мы лежим в постели, потные и скользкие, она снимает с глаз чулочную повязку, задумавшись, пропускает чулок между пальцами и деловито говорит:

— Следующий раз на самом деле подведешь меня к окну.

По ее словам, ей хотелось, чтобы ее видели, чтобы у нее похищали и выставляли напоказ самые ее сокровенные секреты. Но я теперь спрашиваю себя, действительно ли она возлагала на алтарь нашей страсти свои секреты, или же это были просто выдумки на разные случаи? Как-то утром, когда я пришел, она была в ванной. Я постучался, но она не услышала или не пожелала услышать. Тогда я тихо открыл дверь и вошел. Она сидела на краю ванны, поставив перед собой на раковину треснутое зеркало, и протирала ваткой лицо. На меня она не взглянула, только замерла на секунду и собрала губы, пресекая улыбку. На ней была широкая рубаха, а волосы закручены в полотенце. Лицо без косметики походило на бесцветную шаманскую маску. Не произнеся ни слова, я остановился, прислонившись спиной к двери, и чуть дыша смотрел на нее. В белесом свете матового окна колыхался пар, резкий запах

какого-то снадобья напомнил мне детство и маму. Покончив с лицом, А. поднялась, размотала полотенце и стала энергично вытирать волосы, время от времени встряхивая головой и наклоняя ее вбок, как будто в ухо попала вода. Случайно в зеркале наши глаза встретились, но она сразу же отвела невидящий взгляд. Потом, щупая одной рукой еще влажные волосы, другой задрала рубаху, уселась на унитаз и замерла, сосредоточенно глядя перед собой в одну точку, как зверюшка, задержавшаяся на лесной тропе, чтобы пометить свой след. Вот на лице ее отразилось усилие. Готово. Она дважды быстро подтерлась, встала. Всхлипнул и обрушился водопадом бачок. Ко мне дошел ее запах, едкий, пряный, теплый. Слегка затошнило. Она повернула кран газовой колонки, бросила мне через плечо: «Спички есть?» Мне хотелось спросить, всегда ли она подтирается левой рукой, или это тоже притворство, но я не спросил, не хватило духу.

Да и не подходящее это слово — притворство. Правильно было бы сказать, что она просто еще не сформировалась. Не существует, а только становится. Так я о ней думал. Всякий ее поступок был попыткой самоопределения. Я сказал, что это она изобретала наши игры и устанавливала

правила, но на самом деле ее кажущаяся власть была не более чем каприз ребенка. На улице она вдруг толкала меня локтем в бок и, сощурив глаза, смотрела вслед проходящей женщине. «Волосы, — говорила она мне, не разжимая рта. — Цвет совершенно как мой, ты заметил?» Дергала меня за рукав, сердилась. «Ты что, слепой?» Роясь в скопившихся грудах древнего хлама (наше любимое занятие), мы как-то наткнулись на заплесневелый том эротических иллюстраций XVIII века (сейчас мне вдруг пришло в голову: не сама ли она его и подложила?). Она рассматривала их часами. «Посмотри, — говорила, указывая на какую-нибудь непристойно распластавшуюся фигуру. — Правда на меня похожа?» И отвернувшись от книги, заглядывала мне в лицо, бедная моя Жюстина[7], с трогательной настойчивостью ища в нем окончательных подтверждений… чего? Подлинности, наверно. Однако для своих все более изощренных, фантастических упражнений мы возвели поддельное вместилище, хрупкий театр иллюзий, даривших нам самые яростные и драгоценные секунды мрачного наслаждения. Какой пронзительный, темный и нежный вос-

[7] Примечания: 7

Жюстина — героиня одноименного романа де Сада, подвергающаяся мучениям и издевательствам.

торг испытывал я, когда среди судорог страсти она выкрикивала мое ненастоящее, мое фальшивое имя, и на какой-то миг призрак моего другого, отброшенного Я присоединялся к нашим задышливым усилиям, и это уже был секс втроем.

Ты не будешь смеяться, если я скажу, что по-прежнему считаю нас целомудренными? В какие бы гадкие и даже опасные игры мы ни играли, в них все равно оставалось что-то детское. Хотя нет, не так, детство не целомудренное, оно просто несведущее; а мы знали, что делаем. Как ни парадоксально, может быть, это звучит, но, на мой взгляд, как раз само это знание придавало нашим действиям безгрешную, до-грешную легкость. Как все любовники, мы, я по крайней мере (ведь не мог же я знать, что чувствуешь ты) верил, что в наших отношениях есть что-то, чего до нас на свете не было. Не великое, конечно, я же не Рильке, а ты не Гаспара Стампа[8], но что-то такое, что выше себялюбивой плоти, выше даже, чем мы друг для друга, что трепещет и остается, как остается стрела на натянутой тетиве, прежде чем обратиться в чистый полет. Но остается и тогда.

Она рассказывала мне свои сны. Ей снились

[8] Примечания: 8

Гаспара Стампа (1523–1554) — итальянская поэтесса из Падуи, в творчестве Р. М. Рильке фигурирует как воплощение женской любви.

приключения, невероятные путешествия. Снился огромный дог, который превратился в единорога и убежал. Снилось, будто она — не она, а кто-то другой. Она лежала на животе, такая серьезная, упираясь подбородком в ладони, сбоку изо рта торчит сигарета, и тянется кверху быстрый колеблющийся дымок, точно канат факира. Сиреневые тени под нижними веками. Пальцы с обкусанными ногтями. Стянутое, как ниткой, углубление под копчиком. Теперь, в бессонные ночи, я прохожу ее дюйм за дюймом, обвожу все контуры, произвожу топографическую съемку владений, которые мне больше не принадлежат. Вижу, как она медленно поворачивается в глубине экрана моей памяти, замирает, смотрит, слишком реальная, чтобы это была правда, вроде трехмерных чертежей, которые делают компьютеры. Только тогда, когда она видна мне особенно наглядно, я сознаю, что утратил ее навек.

Я чувствовал, что она приближается, эта утрата; с самого начала я ее предчувствовал. Намеков было сколько угодно: обмолвка, хитрый взгляд, слишком поспешно оборванная улыбка. Однажды, лежа в моих объятиях, она вдруг замерла и, приложив ладонь к моему рту, прошипела: «Тссс!» Пронзенный страхом, я услышал отда-

ленный, безжалостный телефонный звонок, донесшийся из недр дома. Телефон! Даже автоматная очередь не показалась бы мне такой неуместной. Но А. нисколько не удивилась. Не сказав ни слова, она выскользнула у меня из рук, завернулась в мой халат и убежала. Я вышел следом, подгоняемый дурным предчувствием. Телефон, старая бакелитовая коробка, стоял внизу, на верстаке, заваленный всяким барахлом. Я остановился на пороге. Она стояла ко мне спиной вполоборота, поставив одну ступню на другую, а трубку зажав между щекой и плечом, и тихо в нее говорила, будто толковала что-то малому ребенку. Чувствовалось, что с улыбкой. Поговорив, положила трубку, обернулась и пошла ко мне, прижав руки к груди и пригнув голову. Только тогда я осознал, что стою перед нею голый. Она прижалась ко мне, смеясь тихим, как тигриное ворчание, смехом. «Ой, как холодно!» — почти весело пожаловалась она. Я молчал, мучительно страдая. Туман раздвинулся, и мне открылся душераздирающий мгновенный вид совсем другой, отдаленной страны.

И дом № 23 тоже обнаружила она. По ее словам, она присматривалась к нему уже давно. Там вроде бы располагалась адвокатская контора (надо

же иметь такое чувство юмора), но по виду входящих и выходящих людей что-то не верилось, чтобы их интересовали юридические вопросы. Однажды она пришла взбудораженная, не сняв пальто, стала коленями на постель, взяла меня за руки и сказала, что я должен пойти с нею кое-куда, она меня отведет. Мы торопливо шагали по малолюдным улицам — дело было к вечеру, и пешеходы почти не встречались. Асфальт под серо-стальным небом казался тщательно вымытым, за каждым углом ждал в засаде порыв ледяного ветра. Дом № 23 выглядел обшарпанным и заброшенным. На улицу выходило большое витринное окно, задернутое коричневой шторой, и узкая высокая дверь. У порога А. позвонила и, усмехаясь, прижалась ко мне спиной, ее макушка приходилась под мой подбородок. Волосы у нее были холодные, но кожа под волосами горела. Послышались шаркающие шаги, мамаша Мэрфи, в шлепанцах и вязаной кофте, выглянула в открывшуюся дверь, но тут же попятилась, глядя на нас с подозрением. «Его нету», — буркнула она. У нее были основательные усы и большой бюст, достигающий до того места, где когда-то находилась талия. А. заискивающе объяснила, что мы пришли не к адвокату. Мамаша Мэрфи

продолжала разглядывать нас с подозрением. «Вы вдвоем», — произнесла она. Если это был вопрос, то у нас не нашлось на него ответа. Она еще некоторое время к нам приглядывалась, а затем отступила в сторону и жестом пригласила войти. Я было замешкался, словно мне предлагалось войти во врата Гиблой Часовни, но А. нетерпеливо тянула меня за рукав, и я последовал за нею, моей Морганой.

Поднимались по узкой лестнице, жирный зад мамаши Мэрфи покачивался у нас перед носом. Освещение было слабое, пахло тушеным мясом. А. победно сжала мне пальцы и что-то произнесла одними губами, но что, я не понял. Мы вошли в небольшую комнату на втором этаже, тускло освещенную, с низким потолком, мягким диваном, тюлевой занавеской и крытым клеенкой столом. По стенам колыхались бурые тени, похожие на лоскуты оборванных старых обоев. Мамаша Мэрфи сложила руки под грудью и опять обратила на нас испытующий взор. А. крепче прижалась к моему боку. Я не знал, куда деваться.

— А вы часом не из полиции? — грозно спросила мамаша Мэрфи.

А. энергично замотала головой.

— Да нет, что вы. Мы не из полиции. — Старуха перевела взгляд на меня. А. поспешила добавить: — Понимаете, нам нужна девочка.

Я почувствовал, что краснею. Мамаша Мэрфи и бровью не повела. Я не в силах был больше выдерживать ее бесцветный взор, заложил руки за спину, отошел и стал смотреть в низкое окно; в конце концов, это женское дело. Конечно, я жалкий, бесхребетный пес, кто спорит. Какие ощущения я испытывал? Возбуждение, разумеется, ужасный, захватывающий, запретный жар, точно потеющий мальчик, вздумавший подглядеть, как раздевается сестрица. (Почему в такие минуты мне всегда вспоминается детство? Наверно, они приводят на ум первые грехи, эти первые неуверенные шаги в реальную жизнь.) За окном сгущались сумерки; наступил вечер. На душе у меня, как тихий вздох, повеяло печалью. В переулке под окном стояли мусорные контейнеры, сараи, гаражи. По верху стены, усеянному битым стеклом, шла, изящно ступая, кошка. Почему отбросы мира всегда говорят мне о чем-то неуловимом? Разве эта сцена могла что-то означать, если она и сценой-то была только благодаря тому, что я на нее смотрел? За спиной у меня А. со сводней вполголоса обговаривали условия.

Вот так бы мне и стоять всегда, мрачно глядя из окошка, как влачится к окончанию зимний день; не жизнь, а ее хрупкое подобие, понимаешь? — в нем я всегда чувствую себя уютно.

Нашу девочку звали Рози. Бывалая с виду, лет, наверно, двадцати, тонкая в кости, но плотненькая, с крашеной белокурой челкой и нечистой кожей. Вполне могла бы оказаться привидением моей дочери, будь у меня дочь. Я сказал ей какую-то любезность, но был вознагражден ледяным взглядом. А вот с А. у них сразу завязалась сердечная дружба, снимая чулки, они уже сидели бок о бок на кровати, у обеих по окурку в малиновых губах и совершенно одинаково прищуренные от дыма глаза. В этой комнате всей мебели была только кровать и конторский стул с пластиковым сиденьем. Кровать неприятно походила на больничную койку. Я разделся и стоял у стула в кальсонах, чувствуя, как волоски у меня на коже встают дыбом, не столько от холода, сколько от дурных предчувствий. А. дала ясные указания: мы с ней займемся любовью, а Рози будет наблюдать. Рози, пожав плечами, сказала, что пожалуйста, она не против. Раздетая, она отошла к стулу, насмешливо взглянула на меня и уселась, скрестив руки и перекинув ногу за ногу. У нее были

красивые плечи и в мочке левого уха болталась английская булавка. А. откинулась на кровати, заложив руки за голову в позе герцогини Альбы. Они смотрели на меня с двух сторон спокойно, выжидающе. Я чувствовал, что меня изучают. Последствия были неизбежны. Я растянулся рядом с А. и, прижав губы к ее шее, пробормотал слова извинения. «Не беспокойся, — прошептала она мне в ухо. — Просто притворись, и все». Похоже, что она была довольна. Именно это ей и было нужно: не сам акт, а изображение акта. На протяжении четверти часа мы трудились, играя страсть, задыхались, терлись друг о дружку, сжимали кулаки. Особенно старалась А., кусала мне плечо и выкрикивала грязные слова, чего никогда не делала, когда мы были одни и не притворялись, или притворялись, но не до такой степени; я не узнавал ее, и при всей моей нежности, мне было грустно и немного противно. На Рози я не смотрел, я бы не вынес ее презрительного взгляда, но остро ощущал ее присутствие, мне слышно было ее дыхание и слабый скрип клеенки под ее голым задом, когда она меняла позу. Где-то в середине нашего спектакля она преспокойно закурила новую сигарету. Позже, когда она уже одевалась, я встал с кровати и попытался ее обнять в знак

сам не знаю чего, а также, наверно, в пику А. Рози застыла, стоя на одной ноге с трусиками в руках, и я с сокрушением отпустил ее. А. наблюдала за этим с кровати, а после того как Рози ушла, поднялась и с нежностью, какой я до тех пор от нее не видел, положила ладонь мне на плечо. «У нас ведь все по-прежнему, да? Ты да я, — так сказала она. — А здесь мы вроде как и не были». По крайней мере могла так сказать.

В ту ночь, помню, мне приснился очень странный сон. В нем была ты. Мы идем с тобой вместе по узкому извивающемуся коридору, но под открытым небом. Это наш квартал, вернее, он, да не совсем, как бывает во сне, и притом еще — некая академия на воздухе, место знаний и мистических ритуалов, что-то отдающее Востоком или Аравией. Кроме нас, никого нет. Непогожий вечер, просвеченный темным сиянием. Небо у нас над головами низкое, гладкое, в черных барашках. Я растерян, а ты знаешь, куда мы идем, я чувствую, как ты дрожишь от нетерпения, прилепившись к моему локтю. Мы не разговариваем, но ты все время заглядываешь мне в лицо с улыбкой, как ты обычно мне улыбалась: не разжимая губ и со злым торжеством в глазах. Подходим к дверям, скорее это церковный портал, створки

— из сложно сплетенных кусков полированного дерева, и в щели узора каким-то образом проникает изнутри бледный дневной свет. Священнодействуя, ты поднимаешь над головой руки, в то же время усмехаясь и подмигивая мне через плечо, дотягиваешься до дверных ручек, приделанных как-то уж очень высоко, и распахиваешь створки. Перед нами узкое помещение, в сущности, еще один коридор, в дальнем конце — окошко, но в него ничего не видно, кроме серого светящегося марева — не то кусок неба, не то туманное море. Помещение, в котором мы очутились, все тесно забито какими-то предметами, их такая уйма, что почти невозможно протиснуться, я сначала принял их за уменьшенные в четверть скульптуры людей в разных невероятных позах и поворотах, слепленные, как мне показалось, из пористой серой глины в пятнах плесени или очень мелкого лишайника. Однако, пробираясь между ними, я увидел, что они живые или по крайней мере не совсем по-человечески, но одушевленные. У меня на глазах они начинают слабо, волнообразно шевелиться, как столетиями неподвижные обитатели морского глубоководья под действием вдруг образовавшегося придонного течения. Один из этих гомункулов, имеющий

вид красивого высоколобого мальчика на высоком пьедестале, улыбнулся мне — в корке плесени вокруг его губ образовались трещины, — улыбнулся мне, словно знакомый, словно он меня узнал и пытается что-то сказать, но издает только невнятное мычание и взволнованно указывает мне за спину. Он указывал мне на тебя, улыбающуюся своей странной улыбкой посреди этого заклятого места. Там была ты. Ты.

6. МЕСТЬ ДИАНЫ, 1642
Й. ван Хольбейн (1595–1678)

Холст, масло, 40 x 17 1/2 д. (101,5 x 44,5 см)

Это название, принадлежащее самому художнику, вызовет недоумение у тех, кто не знает о беде Актеона, который рискнул остановиться и подсмотреть, как купается Диана, и за такое аморальное безобразие был превращен в оленя и разорван собственными псами. Сам ван Хольбейн не отличался особой ученостью, хотя в его работах нередко встречаются классические сюжеты; подобно своему великому современнику Клоду Лоррену, он из простой среды, сын торговца зерном в городке Кулемборге близ Утрехта, латыни толком не знал и не имел доступа в мир Вергилия, гармонии и ясности которого норовил подражать в своих картинах последнего периода. На данном полотне перед нами сцена, когда Актеон вспугнул нагую богиню (и при этом, судя по выражению лица, испугался сам), так что собственно событию еще только предстоит произойти; однако, несмотря на ограниченность

технических возможностей, художник сумел несколькими тонкими штрихами наметить назревающую драму. В позе Актеона, согнувшегося в поясе, с вскинутыми руками, чувствуется неловкость и усилие поднявшегося на задние ноги животного, а на лбу у него еще блестят колдовские капли воды, которой обрызгала его богиня, и в них можно увидеть зачатки будущих рогов; ну и конечно, пятнистая туника, перекинутая через левое плечо и обматывающая грудь и бедра, явно сшита из оленьей шкуры; между тем собаки, суетящиеся у его ног, уже подняли морды и глядят на хозяина с недоумением и жадным интересом, по-видимому, почуяв исходящий от него непривычный запах дичи. И даже в фигуре самой Дианы, полуотвернувшейся и с возмущением косящейся на молодого ротозея, есть предчувствие скорой расправы. Как точно уловил художник мгновение, когда божественная женщина находится на переломе: сильная — и в то же время ранимая, мускулистая — и женственная, уверенная в себе — и охваченная замешательством. Она немного походит на тебя: такие же странно заостренные груди, тонкая шея, опущенные уголки рта. Впрочем, они все походят на тебя; я рисую тебя поверх них, как мальчишка

разрисовывает своими фантазиями улыбающееся лицо модели на рекламном щите. При Диане — одна-единственная нимфа-прислужница, она стоит на мелководье по колено в воде и держит переброшенный через локоть богинин хитон и пояс, а в другой руке у нее Дианин лук, но с отстегнутой тетивой; странная небрежность. Нимфа неподвижна, как статуя, но взгляд ее широко раскрытых глаз устремлен не на богиню и не на юношу, а ровно посредине между ними, словно она замерла в тот миг, когда оборачивалась взглянуть, что так всполошило и расстроило хозяйку? А над лесной прогалиной возвышается, превращая в карликов все три фигуры, застигнутые в роковое мгновение, несоразмерно высокий лесистый склон долины Гаргафии, купающийся в золотой дымке солнечного света и, однако, дышащий угрозой и предчувствием беды. Храм справа среди скал в своем белом совершенстве кажется ненастоящим, он взирает с каменной грустью на сцену, разворачивающуюся у его подножия. Эта неподвижность, и немота, и ошеломленность, если можно так выразиться, перед неизбежно наступающим ужасом и создают настроение картины и придают ей странную и, быть может, неприятную притягивающую силу. Вот так же,

наверно, мир взирал на меня и ждал, когда…

~~~

Когда она потребовала, чтобы я ее бил, надо было понять, что игра кончена или, во всяком случае, быстро к тому идет. «Зная все это»[9] и т. д. Бывают мгновения — да, да, что бы я ни говорил раньше, бывают мгновения, когда звучит нота, которая не раздавалась до этого, темная, мрачная, неопровержимая, еще одна струя, вливающаяся в многоголосый аккорд. Эту ноту я услышал, когда она вцепилась в мое запястье и зашептала: «Ударь меня, ударь, как ее». Я сразу же перестал делать то, что делал, и навис над нею, навострив уши и дергая рылом — животное, застигнутое на открытом месте. Ее голова поднялась над подушкой, затуманенные глаза смотрели слегка вразброд; в ямке между ключицами блестели капли пота. На небе огромная сине-стальная туча уплывала за раму окна, блестели крыши. Именно в это мгновение я вдруг почему-то понял, обрушившись с высот, что за запах был тогда в подвале, когда она впервые меня туда

---

[9] Примечания: 9

Строка из стихотворения Т. С. Эллиота «Геронтион» (1920): «Зная все это, какое уж тут прощение?»
~~~

привела. Сердце мое замельтешило, захромало. Охваченный ужасом, я спросил, о чем она, но она досадливо тряхнула головой, закрыв глаза, глотнула воздух и прильнула ко мне. По сей час я помню это прикосновение: ее кожа была тугая, немного липкая, каким-то образом одновременно и холодная, и горячая.

В последние дни ноября вдруг расцвела ложная весна. (Вот, вот, поговорим о погоде.) В парках дерзко проросли цветочные клубни, птицы принялись пробовать разные робкие рулады, и люди с полуулыбками на лицах прогуливались, щурясь, на мягком, разжиженном солнышке. Даже мы с А. не усидели в четырех стенах. Я вижу нас на тех узких улочках — точно двое детишек из сказки, мы расхаживаем по пряничному городку и даже не подозреваем о злых людоедах, которые следят за нами с высокой башни. (Один из нас, во всяком случае, не подозревал.) Мы заходили в тесные пивные, сидели под запотевшими окнами в чадных кафе. А. все время жалась к моему боку, дрожа от какого-то словно бы сонного счастья. Я тоже был счастлив. Да, счастлив, без оговорок и уточнений. Какого труда мне стоило произнести эти простые слова. Под счастьем я понимаю то ленивое, подвешенное ощущение отрешенности,

которое по временам накатывало на меня, когда я бродил с нею по улицам или сидел в каком-нибудь поддельно-старинном кабаке и слушал ее рассказы про самое себя и свои вымышленные жизни.

Она первая обратила внимание на Барбароссу. Он жил на Фоун-стрит в картонном контейнере в подъезде, где вход в лавку точильщика. Эдакий грузный рыжебородый бродяга в трехцветной вязаной шапочке, попавшей ему в руки, наверно, после очередного футбольного матча, и в старом коричневом пальто, перепоясанном веревкой. Мы изучили его привычки. Днем он оставлял сложенный контейнер в подворотне позади лавки, а все пожитки распихивал в пластиковые мешки и отправлялся по раз и навсегда установленному маршруту. Среди прочего имущества он носил с собой некое загадочное устройство: связку металлических трубок разной толщины, то ли гоночный велосипед в разобранном виде, то ли свинчивающуюся щетку трубочиста, — и берег его как зеницу ока. Как ни ломали мы головы относительно его предназначения, выдвигая и отбрасывая самые причудливые гипотезы, но для чего ему эта вещь, никак взять в толк не могли. Ясно только было, что она представляет для

него большую ценность, несмотря на изрядные трудности, связанные с ее транспортировкой, он таскал ее повсюду, бережно и благоговейно, точно римский церемониймейстер в торжественном шествии, держащий перед собой пучок прутьев с топориком. Вообще же пожитков у него было слишком много, все вместе он переносить их с места на место не мог и изобрел довольно интересный метод: брал в руки трубки и три из своих шести или семи набитых пластиковых мешков, отволакивал, мелко семеня, на расстояние ярдов в двадцать, там ставил мешки на чей-нибудь порог или у водостока, а сам, не выпуская из рук драгоценных трубок, возвращался за остальными мешками и переносил их туда же. После этого бывал короткий перерыв, он проверял, все ли мешки целы, или же перекладывал и заново увязывал трубки, а то и просто стоял, глядя вдаль и думая неведомо о чем, прочесывал толстыми пальцами рыжую бороду, и так постояв, снова пускался в путь. Из всех наших нищих бездомных инвалидов — а их у нас под конец собралась целая коллекция — А. с наибольшей благосклонностью относилась к Барбароссе, говорила даже, что хотела бы иметь такого отца. От комментариев воздержусь.

Однажды днем, не помню, каким образом, мы очутились не то в каком-то дворе, не то на маленькой площади по соседству от кафедрального собора — нам была видна его массивная, фантастическая, наклонная колокольня. Я огляделся, и внезапно меня охватил смутный, неопределенный ужас, словно, сами того не ведая, мы переступили невидимые преграды и вошли в запретную зону. День был безветренный, серый. Звонко шуршали последние сухие листья на угольно-черных сучьях голого дерева, обнесенного проволочной оградкой, как на сцене. Кроме нас, там никого не было, сверху слепо смотрели кухонные окна окружающих семиэтажных домов. Я ощущал какое-то присутствие, давящее, выжидающее, злое. Хотелось уйти, убежать; но А. вдруг отпустила мой локоть, вышла вперед, запрокинула голову и так стояла молча, почти улыбаясь и словно бы вслушиваясь, выжидая. Так, наверно, стояла дочь Миноса у входа в Лабиринт, чуя приближение своего страшного брата и обоняя смрад крови и навоза. (Но если я — Тезей, почему же я остался в слезах один на пустынном берегу?) Однако ничего не произошло, никто не появился, и вскоре А. позволила мне взять ее за руку и увести оттуда, как ходящую во сне. Может

быть, мне когда-нибудь еще удастся подобрать конец нити и дойти по ней опять до сердцевины Лабиринта.

Часто во время этих прогулок мы вдруг, не сговариваясь, поворачивали и бок о бок, как участники деревенских состязаний в беге на трех ногах, спешили в свою комнату и там, сбросив одежду, валились на кровать, словно готовые пожрать друг друга. Конечно, я бил ее; не так чтобы очень сильно, но достаточно сильно, как и следовало ожидать в конечном итоге. Сначала она лежала смирно под моими любящими ударами и только чуть-чуть вздрагивала, зарывшись лицом в подушку и раскинув руки и ноги. А после велела мне подать зеркало с моего рабочего стола и разглядывала у себя на плечах, ягодицах и боках красные отметины, которые через час потемнеют до грязной синевы, и проводила пальцем по огненным желвакам, оставленным моим ремнем. В эти минуты я совершенно не представлял себе, что она думает. (А представлял ли когда-нибудь?) Может быть, она не думала вообще ничего.

А я, что думал и чувствовал я? Поначалу удивление, нерешительность, какой-то восторженный испуг, оттого что мне дозволено такое. Как человек из публики, вызванный фокусником на

эстраду, держит в одной руке золотые часы, а в другой молоток и жмурится в свете прожектора, а сам думает: что, если я их разобью («Давай, давай, бей сильнее!»), фокус не удастся и часы так и останутся сломанными? Есть пределы, которые раз перейдешь — и уже нет пути назад, кому и знать это, как не мне? Я ее осторожно шлепал, скривившись и разинув рот от ужаса. В конце концов она теряла терпение и настойчиво выставляла зад, как разомлевшая кошка. Постепенно я осмелел, помню, как первый раз заставил ее охнуть. Я представлялся себе свирепым чудовищем Гойи, косматым, кровавым, непобедимым. Морроу Беспощадный. Смешно, конечно, но в то же время и не смешно ничуть. Я был чудовище, но и человек. Она извивалась под моими ударами, скривив лицо и больно прикусив собственную руку. Но я не переставал, о нет, я бил еще и еще. При этом с меня что-то спадало, годы отваливались, отслаивались и отлетали с каждым притворным ударом. А после я целовал отпечатки веревки на ее запястьях и щиколотках, заворачивал ее в старый серый плед, и мы сидели на полу, голова к голове, я сторожил ее, а она лежала у меня на руках с закрытыми глазами, иногда спала, ее дыхание холодило мне щеку, ее

рука вздрагивала в моей горсти, как что-то живое, умирающее. Какой слабой, измученной и потерянной она казалась после таких загулов боли и страсти, ресницы растрепаны, влажные пряди волос прилипли ко лбу, и бедные разбитые губы распухли, — какое-то новое, почти неузнаваемое бледное лоснящееся существо, словно только что вылупившееся из кокона и отдыхающее, перед тем как развернуться для новой жизни, которую я ей подарил. Я? Ну да, я. Ведь больше не было никого, кто мог бы дать ей жизнь.

Хлыст был нашим грехом, нашей тайной. О нем мы не говорили, не поминали ни словом, чтобы не вторгаться в магию. Потому что это была магия, не хлыст, а волшебный жезл, заколдовывающий плоть. Когда я им орудовал, она не смотрела, а лежала с закрытыми глазами и только мотала головой, туда-сюда, приоткрыв рот в экстазе, как Святая Тереза у Бернини, или устремляла взгляд куда-то еще, в камеру пыток своей фантазии. Она поклонялась боли, для нее не было ничего реальнее страдания. Она носила в сумочке фотографию, вырванную из книжки, и однажды показала мне: какой-то французский антрополог в конце прошлого века заснял на городской площади Пекина «казнь тысячи над-

резов». Преступник, босой, в тюбетейке и черных штанах, привязан к шесту, а со всех сторон его окружает равнодушно-любопытная публика, люди, просто прохожие, которые остановились взглянуть на бесплатное зрелище, чтобы через минуту разойтись и отправиться дальше по своим делам. Палачей двое, два низкорослых, жилистых человечка с косицами, тоже в черном и тоже в тюбетейках. Они, видимо, работают поочередно, сейчас один как будто бы с трудом разогнулся и держит ладонь на пояснице, в то время как другой, пригнувшись, небольшим кривым ножиком делает на левом боку у осужденного, чуть ниже ребер, изрядных размеров разрез в форме полумесяца. Все выглядит вполне заурядно — так, какой-то третьестепенный праздник, и казнь среди аттракционов представляется далеко не самым интересным. Всего примечательнее вид казнимого. Голова его откинута назад и чуть вбок, выражение лица задумчивое, но и страстное, глаза устремлены вверх, так что зрачки подведены полосками белков. Из-за того что руки связаны сзади, плечи оттянуты, худая, костлявая грудь выпячена — кажется, он сейчас разразится пламенной речью или запоет экстатическую песнь. Да, именно экстаз, вот что выражает вся

его фигура, экстаз человека, погруженного в созерцание потусторонней реальности, гораздо более реальной, чем эта, где он сейчас принимает муку. Одна просторная штанина задрана, здесь палач — несомненно, тот, которому вступило в поясницу — поработал над икрой и мякотью под коленом; струя черной крови зигзагом стекает по его узкой выгнутой ступне и теряется под ногами зевак.

Я спросил, зачем ей эта ужасная картинка. Она сидела на постели по-турецки, пристроив снимок между коленями, и водила по нему концами пальцев, как слепые. Я отнял его. Некогда глянцевая поверхность оказалась затертой, покрытой кракелюром крохотных трещин, текстура у нее была чешуйчатая, тусклая, как у мертвого рыбьего глаза.

— Тебя шокирует? — отозвалась она, заглядывая мне в лицо; когда она вот так смотрела на меня, я начинал понимать, что значит — быть зеркалом. Она перевела взгляд куда-то в сторону, между мной и собою. Что она знала? Тень боли, алый отсвет, замирающее эхо. Самую боль она не знала — настоящую муку, вспышку и дрожь и внезапный жар, немое изумление плоти. Я вернул ей снимок. Только тут я заметил, что мы

оба наги, недоставало только яблока и змея. Свет, падающий из окна, придавал ее коже свинцовый глянец.

— Расскажи про своего знакомого, — сказала она. — Про того, что убил женщину.

И замерла, казалось, даже не дышит.

— Ничего ты не знаешь, — ответил я.

Она кивнула, груди ее вздрогнули. Дрожащими пальцами она нащупала пачку сигарет, достала одну, закурила. Снова уселась по-турецки, обняла себя за плечи. Серый пепел просыпался ей на живот.

— Вот и расскажи, — повторила она, отведя глаза.

Я рассказал: летнее солнце, птицы в ветвях, тихий дом, и этот нарисованный взгляд, а потом кровь, и запах, и крики. Я дошел до конца, и мы повалились на постель, сразу, без подготовки, впиваясь друг в друга, как… как не знаю что. «Ударь меня! — кричала она. — Ударь!» А после, в молчании растревоженной комнаты, она притянула мою голову себе на плечо и, раскачиваясь, баюкала меня рассеянно и нежно.

— Я на днях после твоего ухода была в двадцать третьем доме, — сказала она. Я узнал этот задумчивый, мечтательный тон. И ждал продолжения.

Сердце мое уже зарысило, косолапо и неровно. — Ходила навестить Рози, — рассказывала она. — Помнишь Рози? Там был клиент, он хотел двух женщин одновременно. Моряк, кажется, или вроде того, он говорил, у него несколько месяцев никого не было. Огромный такой. Волосы черные, глаза черные, и в одном ухе серьга.

Я отодвинулся от нее и прислонился спиной к закругленному изголовью, положив обе ладони на свои голые ляжки. В углу на потолке, ближе к окну, собирались серые мягкие тени. Что-то вроде пыли или сора просыпалось на раскаленную спираль электрокамина, коротко затрещало, и запахло сухой гарью.

— Ты раздвинула для него ноги? — спросил я. Я знал, какие вопросы должен задавать.

— Нет, — ответила она. — Он хотел сзади. Я лежала лицом в коленях Рози и развела руками ягодицы, и он просунулся в меня, на сколько влезло. Было замечательно. До того здорово, я думала, я с ума сойду! А он делал это со мной и одновременно целовал Рози и лизал ей лицо, и заставлял ее говорить обо мне всякие гадости. Потом, когда он снова был готов, я отсосала у него, а Рози лизала у меня. Как ты это находишь?

Я чувствовал на себе ее взгляд, злорадный,

алчный взгляд маленькой девочки. Это был ее хлыст.

— И ты позволила ему бить тебя?

— Я сама попросила. Умоляла. Пока он занимался со мной и с Рози, ему было не до того, но потом он взял ремень и так меня отхлестал, а Рози держала меня и не давала разогнуться.

Я протянул руку, не глядя, и крепко сжал ее ступню. Я весь был как один больной, гнилой зуб.

— Ты кричала?

— Вопила. А потом вопила, чтобы бил еще.

— И он бил еще.

— Да.

— Расскажи.

— Нет.

Мы сидели и слушали хриплые звуки собственного дыхания. Я мелко дрожал, чувствуя, как на сердце мне ложится привычная тупая тяжесть страдания. Наверно, это было предчувствием будущего, реального будущего, с его реальной мукой, подстерегающей меня впереди в виде моряка с черными глазами и с дубиной-вымбовкой в руке. Я плохо приспособлен к такой разновидности страдания, к этой стылой тяжести на сердце, я не достаточно храбр и не достаточно холоден;

мне бы что-нибудь поспокойнее, попроще, чтобы не надо было думать, чтобы не надо было все время… все время… ну, не знаю. Я видел снимок казни, валяющийся на полу, — во всей серой толпе самым живым был казнимый человек, хотя он уже умирал. А., все так же не глядя, подползла на животе к изголовью и легла возле меня, подогнув колени и прижав к груди кулаки.

— Прости меня, — произнесла она, легонько дохнув мне в шею. — Прости.

В такие дни мы расходились, торопясь, в смущении избегая смотреть друг другу в глаза, как незнакомые люди, которые оказались заперты в одном чулане, а теперь, слава Богу, вышли на свободу. Я останавливался на крыльце, жмурясь от света или робея от вида прохожих на улице, от обычности мира. Или, может быть, меня потрясало внезапное обретение моего утраченного Я. Потом я пускался в путь, крался, прижимаясь к стенам домов, погруженный в тоску и бесформенное отчаяние, — еще один мистер Хайд на подкашивающихся ногах, когда зелье уже начало терять свое действие. Вот когда все мои страхи поднимали оглушительный какофонический вой.

Тетя Корки утверждала, что за нами следят.

Она заметно воспряла духом в эти не по сезону весенние дни. Свежерасчесанный рыжий парик увереннее сидел у нее на голове, заново вырисованное малиновое насекомое, хоть и криво, но распласталось на губах. Днем она слезала с кровати — процесс сложный и длительный — и в своем порыжелом черном выходном платье садилась в гостиной у широкого окна наблюдать, как по тротуару спешат люди и машины дерутся за место у кромки тротуара, точно рассерженные тюлени на берегу. Наскучив зрелищем человечества, она обращала взор к небесам и следила за медленным ходом дымных, льдистых туч над крышами зданий. Удивительно, до чего быстро я притерпелся к ее присутствию. Ее запах, букет запахов — пудры, старой одежды и чего-то слегка прокисшего — бросался у порога мне навстречу, как чужая мирная собачонка. Я немного задерживался в дверях, прокашливался, переступал с ноги на ногу, давая тетке знать о своем прибытии. А то вначале, бывало, я входил без предупреждения и заставал ее словно бы в забытье — она вздрагивала, издавала мышиный писк, а придя в себя, долго хлопала глазами и кривила рот на разные лады. Иной раз даже после того, как я шумом провозглашал свой приход, она, запрокинув

голову и вздернув одну бровь, всматривалась с ужасом и недоумением, не узнавая меня в этом наглом непрошеном госте. Я думаю, она вообще большей частью считала, что находится у себя дома, а я явился с визитом и скоро уйду. При мне она говорила, не закрывая рта (и без меня, наверно, тоже); иногда я доходил до того, что останавливался и тряс головой, как лошадь, которую одолели мухи, чувствуя, что, произнеси она еще хоть слово, и я ее ударю. Тут она сразу умолкала, и мы смотрели друг на друга в ужасе и недоумении. «Уверяю тебя, — с укоризной повторила она, — они там внизу на улице приезжают и наблюдают каждый Божий день». И с таким негодованием отворачивалась от меня, точно гневная киноцарица, поджимая уголки губ, воздевая над головой дрожащий кулачок и бессильно роняя его на подлокотник. Мне приходилось извиняться, наполовину в сердцах, наполовину в раскаянии, и она, передернув плечами и тряхнув бронзовыми локонами, принималась ощупью искать сигареты.

Потом-то выяснилось, что она была права; за нами велась слежка. Не могу сказать, в какой момент мое неверие сменилось подозрением, а подозрение — тревогой. Наступил темный конец

года. «Вампир» продолжал свою жуткую охоту, в мусорном контейнере на автостоянке за церковью обнаружили еще один изуродованный труп. Город был во власти слухов и упоительных, кошмарных гипотез. Говорили о сатанизме, о ритуальных зверствах. В такой обстановке нельзя полагаться на воображение, однако признаки того, что меня выслеживают, были неоспоримы: стоявший у монастырских ворот автомобиль с невыключенным мотором, сорвавшийся с места и умчавшийся при моем приближении; глаз, направленный на меня через улицу из толпы прохожих, спешащих на обеденный перерыв; человек в бобриковом полупальто с капюшоном у меня за спиной, улизнувший за мгновение до того, как я оглянулся; и это знаменитое щекотное ощущение между лопатками. Мне было, по-моему, не столько страшно, сколько интересно. Я решил, что это надзирающее око людей инспектора Хэккета. Но как-то утром я возвратился домой, еще весь в лихорадке после раннего свидания с А., и во втором ряду машин, припаркованных перед нашим домом, увидел большое розовое Папанино авто. За рулем сидел Лупоглазый. Я остановился возле, но парень не покосился в мою сторону, он смотрел прямо перед собой через лобовое стекло;

профессиональный этикет, очевидно, не допускает узнавания. У него на губе проросли новые неубедительные рыжеватое усики, когда я, наклонившись, заглянул к нему, он нетерпеливо, с раздражением их теребил. Я отпер дверь и со всех ног бросился вверх по лестнице. Воображение рисовало мне картину: тетя Корки лежит в кресле связанная, с кляпом во рту, а на подлокотнике, свесив зад и держа у ее горла нож, сидит Папанин молодчик, из стороны в сторону перекидывая во рту зубочистку. Я осторожно-осторожно открыл дверь в квартиру — до боли сжав зубы, чтобы не брякнуть ключом, — просунул голову внутрь, прислушался и услышал голоса, вернее — один голос, теткин; не иначе как выбалтывает какие-нибудь выдуманные секреты.

Она сидела у камина в своем парадном платье — вы бы видели парадное платье тети Корки — и держала на колене чашку с блюдцем. В другом кресле, напротив нее, восседал Папаня в слегка поношенной норковой шубе до пят и в синей фетровой шляпке с черной вуалью (еще одна вуаль!), похожей на паучьи тенета с застрявшими в них насекомыми. На ногах у него были полуспущенные коричневые бумажные чулки — неужели их еще делают? — и деревенские баш-

маки на низком каблуке. На полу, прислоненный к ножке кресла, лежал вместительный ридикюль из лакированной кожи. Сахарница, молочник и прочие чайные принадлежности размещались на низком столике между креслами. В камине на углях лениво трепетали бледные язычки пламени. «Ага! — сказала тетя Корки. — Вот и он».

Я нерешительно вошел, чувствуя, как по лицу у меня патокой растекается заискивающая улыбка. По каким правилам надо себя тут вести?

— Вот, проезжал мимо, — повел рукой Папаня и рассмеялся своим надтреснутым смехом, как будто раздавил что-то хрупкое и острое; вуаль на шляпке затряслась. В этом одеянии он неприятным образом походил на мою мать во цвете лет.

— А вы, оказывается, вместе работаете? — с лукавой укоризной сказала мне тетя Корки и покачала головой, как настоящая гранд-дама. — Представляете, он мне совершенно ничего не рассказывает, — пожаловалась она Папане.

Папаня мирно посмотрел на меня и спросил:

— Сирил у подъезда? Сынок, — пояснил он тете Корки. — Ничего парень, но — забывчив.

— Мне ли этого не понять! — Тетя Корки опять повернулась ко мне. — Может, снимешь пальто и присоединишься к нам?

Я придвинул стул и подсел к ним. Но пальто не снял.

Сирил.

Папаня отхлебнул чай. Вуаль ему мешала.

— Он должен был погудеть, когда вы появитесь. Может, не заметил?

Я пожал плечами и сказал, что да, должно быть, не заметил; мне вдруг захотелось заступиться за Лупоглазого, раз уж я узнал его настоящее имя и видел его свежепроклюнувшиеся усы.

Наступило молчание. Коротко свистнул уголек в камине. Папаня сидел, напыжившись, с недовольным выражением на лице, думал, наверно, о том, что на молодежь нельзя положиться. Удивительно, до чего он походил на мою мать, упокой Господи ее душу, — эта его манера сидеть без движения, твердо уперев в пол расставленные ноги, ну просто вылитая она.

А мысли тети Корки были далеко. Но вдруг она спохватилась и виновато огляделась вокруг.

— Мы разговаривали об искусстве, — вернулась она к прерванной беседе. — Эти картины. — Она мечтательно заулыбалась, закатила глаза и вздохнула. — Как бы хотелось их посмотреть!

Папаня, подмигнув, произнес тоном сурового упрека:

— Вы что же это, не могли сводить тетю в тот дом, показать ей картины? — И обратившись к тете Корки: — Все они такие, дождешься от них внимания.

Он надвинул шляпку на уши, кряхтя, поднялся из кресла и отошел к окну, важный, властный, в гневе.

— Нет, вы только поглядите на него! — возмущенно пробурчал он, заглядывая вниз. — Ах ты прыщ!

Воспользовавшись тем, что он стоит к нам спиной, я попробовал со значением посмотреть на тетю Корки, вздернул одну бровь, заморгал, но она уставилась затуманенными глазами и только безмятежно улыбалась. Я заметил, что у нее стала трястись голова. Мне представилось, что она прямо сейчас умрет, и мы с Папаней понесем ее вниз в карету «скорой помощи», я держу за плечи, а Папаня, смешно сдвинув шляпку набекрень и откинув вуаль, ухватился за ноги и спускается вперед спиной, через плечо призывая на подмогу Сирила.

Папаня вернулся к камину, снова уселся в кресло, ловко расправив полы шубы на квадратных коленях. Из-под меха выглянул черный бархатный подол платья, весь в проплешинах. Папаня

дружелюбно взглянул на меня.

— Видели в последнее время нашего друга? Мистера Мордена? — Я отрицательно покачал головой. Он кивнул. — Ну да, его ищут, ищут, и все впустую.

Я, поколебавшись, решился и спросил, известно ли ему, что им интересуется полиция.

— Неужели? — улыбнулся он и поднял вуаль, чтобы яснее видеть меня. — Ну надо же.

Я назвал Хэккета.

— А я его знаю! — Он шлепнул себя по колену. — Хорошо знаю. Порядочный человек.

— Он расспрашивал меня про картины.

— Ну? Прекрасно! — обрадовался он, словно это была самая добрая весть.

Тетя Корки следила за нашим диалогом, поворачивая голову туда-сюда, как зрительница на теннисном матче. И вдруг вмешалась:

— У полиции, конечно, забот полон рот. — Мы оба оглянулись на нее. — Охрана таких сокровищ. И всякие трудности со страховкой. Помню, покойный барон Тиссен мне рассказывал…

Папаня все время слушал ее, оживленно поблескивая глазами, как собака Принц. Но тут отмахнулся, не дав договорить:

— Да ну, нам ничего этого не нужно, охраны

этой, страховки, и прочего. Зачем? За своим имуществом мы сами присмотрим. — И обратился ко мне за подтверждением: — Верно я говорю, мистер М.? — М. обозначало Марсия, подвешенного вверх ногами между двумя согнутыми стволами лавра, внутренности на виду, кровь и слизь капают с волос на землю. — Между прочим, я вчера вас во сне видел. — Он медленно начертил в воздухе круг у себя над головой. — Мне какие только сны не снятся. Вы сидели в маленькой комнатке со своими книгами. И вам было скверно. Потом вы на улице, и к вам подошел один парень и предложил работу. Он знал, что вы человек, на которого можно положиться.

Я представляю себе страх как внутренний орган, вроде большого сизого пузыря, когда он вдруг надувается, то оттесняет все: сердце, печень, легкие. И всегда это происходит неожиданно, это удушающее набухание, а из-за чего, ума не приложу, хотя мог бы уже, кажется, приглядеться за столько лет. Бесцветный глаз Папани смотрел на меня из-под толстокожих век, но вдруг что-то блеснуло, и мне показалось, что его лицо — это не лицо, а маска, а за маской кто-то совсем другой подошел, припал своим глазом к пустой глазнице и разглядывает меня с высокомерным презрени-

ем и издевкой, прикидывая, многого ли я стою. Я вздрогнул, и дыхание у меня перехватило.

У подъезда зазвонили, два коротких звонка и один протяжный; чашка тети Корки забренчала на блюдце. Папаня снова принял добродушный вид, поднял сумку и, кряхтя, встал. «Это меня», — сказал он. Тетя Корки любезно улыбалась, уже ничего не помня. Папаня взял ее руку, картинно пожал. «Ну, до свидания, мадам, — сказал он. — И помните, что я вам говорил: вода, вот что вам нужно. Выпивайте в день по пять-шесть стаканов сырой воды и будете как огурчик. Я в эти вещи верю свято». Он тряс ее руку и в такт кивал головой. А затем повернулся и зашагал к двери, но по пути задержался перед зеркалом, поправил шляпку и вуаль, и встретившись со мной взглядом в зеркале, подмигнул и осведомился: «Как у меня швы на чулках, не перекрутились?» Я открыл перед ним дверь. Он казался массивным, как бревно; мне никак не удавалось унять дрожь в руке, держащей дверную ручку. «Ну, пока-пока», — бросил он мне, вильнул широченным задом и, гогоча, потопал по ступеням вниз.

Когда я вернулся в гостиную, тетя Корки мне шаловливо улыбнулась и покачала головой.

— Ну и дружки у тебя!

Это был ее последний прием. Она еще немного посидела, уставившись перед собой невидящими глазами, а потом встала с кресла, но покачнулась и чуть не упала спиной в огонь. Я схватил ее за локоть, а она посмотрела сквозь меня с выражением глубокого, мутного недоумения, словно внутри у нее все вдруг переменилось и стало неузнаваемым. «Знаешь, — дрожащим голосом проговорила она, — я, пожалуй, лучше прилягу». Ее предплечье, тоненькая палочка в мешке из оберточной бумаги, ходуном ходило у меня в ладони. Она прислонилась ко мне, посмотрела, как льется в окно утренний свет, вздохнула с запинкой и пробормотала: «Какие солнечные стали вечера».

Я оставил ее и со всех ног бросился в дом на Рю-стрит, но тебя там уже не было. Я прямо в пальто повалился на постель. Оставленное нами пятно остыло, но не просохло; я взял на кончик пальца немножко жемчужной слизи и попробовал языком. Иногда, когда мы шли после такого свидания по улицам, она вдруг останавливалась и, брезгливо морщась, упрекала меня: «Я вся протекаю». В этих мелких неприятностях, присущих логике любви, виноват всегда был я. «Посмотри! — ругала она меня, указывая на пят-

но или синяк. — Смотри, что ты со мной сделал!» Злой румянец растекался у нее от горла по лицу, лицо разбухало, и я должен был минут двадцать пресмыкаться у ее ног, прежде чем она смягчалась и позволяла к себе прикоснуться. Но зато потом как она прыгала подо мною, извиваясь рыбкой, скрестив лодыжки у меня на спине и стараясь впиться обкусанными ногтями в дрожащие мускулы моих плеч. От нее пахло морем, и хлебом, и чем-то еще, возбуждающе грибным и мшистым. Ее слюна имела вкус фиалок, уж не знаю, какой у них вкус, у фиалок. Она лизала мои руки, один за другим брала в рот и обсасывала мои пальцы. На улице, вдруг остановившись, она затаскивала меня в какой-нибудь подъезд и требовала, чтобы я просунул руку ей под платье. «Пощупай, — говорила она, шумно дыша мне в ухо, — я вся мокрая». Но самыми волнующими были, мне кажется, те минуты, когда она совершенно забывала обо мне — стоя у окна со сложенными на груди руками и сонно глядя на уходящие вдаль крыши, или в магазине, пролистывая глянцевые журналы, или просто шагая по усыпанным листьями тротуарам, с опущенной головой, занятая какими-нибудь мыслями. Меня безумно трогало, что при этом она становилась

почти совсем собой, это неведомое существо, чье тело, каждый дюйм, я знал лучше, чем знаю свое собственное. Она была переменчива — сейчас ребенок, а через минуту злая карга. Иногда, когда она близоруко копалась в своей сумке в поисках зажигалки или губной помады, ссутулясь и выставив серовато-розовый кончик языка, она становилась похожа на старуху, вроде тех старых, ощипанных куриц, что являются вечерами в дешевые забегаловки купить себе по дешевке стопочку на сон грядущий. Как-то я сказал ей об этом, глотая комок волнения в горле при мысли о том, что станется с ней в старости, когда меня не будет. Она не ответила, только поразмышляла секунду или две и приняла решение — мне было видно, как она его принимает, — что она ничего этого не слышала.

Несмотря на бесчисленные знаки физического внимания, которыми я ее осыпал, были такие области, куда я не вторгался. Не знал, например, как она предохраняется и предохраняется ли вообще. Я об этом не думал; чтобы она зачала, представлялось мне совершенно невозможным. Она была сама себе дитя, хрупкое, болезненное создание, которое надо нянчить, ласкать и гладить по головке. Она имела привычку говорить о

себе — о своем здоровье, своей внешности, своих желаниях — с показной скромностью любящей мамочки, выхваляющейся хорошенькой дочуркой. Какие-то вещи ей надо было иметь во что бы то ни стало, особенно если они принадлежали кому-нибудь еще. Отнять у другого доставляло ей дополнительную радость. Так она грабила мое прошлое: мое детство, семью, школьных товарищей (с этими она разделалась в два счета), первые любови, постепенную катастрофу взросления, — все становилось детской площадкой для игр, где резвилась ее фантазия. Она любила рассказы и требовала их от меня. Особое пристрастие испытывала к повествованиям из тюремной жизни (упоминал ли я, что сидел в тюрьме?) и слушала как завороженная, когда я описывал — не без прикрас в ее вкусе — сексуальные отношения, ритуалы наказаний и наград, лихорадочное волнение и тревогу в дни свиданий, тупое оцепенение дня, вздохи и шепоты беспокойных ночей, безмолвие нескончаемых, серых, как вошь, рассветов. Для нее это все было вроде исчезнувшего царства инков. Как страстно, с каким нежным упоением отдавалась она мне после этих рассказов, приникнет ко мне, лицо запрокинет, белая шея выгнута, затененные веки трепещут.

Эти воспоминания. Где в них она? В слове, дыхании, взгляде через плечо. Я потерял ее. Иногда мне кажется, что уж лучше бы мне утратить и всякую память о ней. Со временем так, наверно, и будет. Воспоминания отвалятся, отпадут, как падают волосы, выпадают зубы. Буду рад этой убыли.

О картинах, о Мордене и вообще ни о чем таком мы никогда не говорили; но оно постоянно было при нас. Как будто когда-то, давным-давно, мы все это обсудили и отложили в сторону, чтобы больше не вспоминать. Порой ощущение это было настолько ясным, что я начинал сомневаться: не было ли у нас вправду такого разговора, и просто я его почему-то позабыл? В тех редких случаях, когда я все-таки случайно упоминал о том переплете, в который попал — потому что положение действительно становилось довольно сложным, — она отворачивала поскучневшее лицо с отвисшей челюстью, словно подавляя зевок. Но при этом я чувствовал, что ей все известно, что она неотступно, пусть и нехотя, но сохраняет бдительность, как человек, который ночь напролет дежурит у постели больного. Ты предавала меня, любовь моя? Хотя бы и так, мне дела нет. Если бы пришлось, я бы все повторил сначала и

не колебался бы ни секунды.

Так я и уснул, лежа в пальто поверх постели, подогнув колени и обхватив себя руками. Мне приснилась ты. Мы были вместе в нашей комнате, но теперь не вдвоем, а втроем, тут же находилась еще крупная бледная нагая женщина, величественная матрона, широкая в бедрах и узкая в плечах. У нее были белые груди с розовыми сосцами и блекло-голубые глаза, глядящие в никуда. Мы сидели по краям, а она лежала, распростертая, между нами, ничем не скованная, но все-таки наша пленница. Я прикоснулся к ее розовому рту, и из глубины ее горла вырвался неясный, потерянный стон. Ты грустно-грустно мне улыбнулась, и я взял твою руку и положил на ее грудь; моя же рука была погружена в густое курчавое руно ее лона, там было тепло и почему-то привычно. Она была — мы и все-таки не мы, наша Ариаднина нить к самим себе. Ты нагнулась над нею, поцеловала алые сжатые губы, и твои иссиня-черные волосы упали вороновым крылом ей на лицо.

Когда я проснулся, уже наступил вечер. Я озяб, пальцы занемели. Что-то потянулось вслед за мною из этого сновидения, что-то темное, медлительное, тяжелое. Я полежал неподвижно,

бездумно, с широко открытыми глазами, холодея от страха. До Мордена, картин и тебя я ведь уже думал, что никогда больше не испытаю страха, что у меня против него иммунитет. Я поднялся и встал у окна в растерянности и смутной тревоге. Со всех сторон меня окружал старый дом, затаившийся, выжидающий. Хотелось закрыть ладонями лицо и выть. Пол у меня под ногами поехал. Я ощутил ее, эту первую, слабую подвижку льда.

Я ушел. Вышел на крыльцо, и рот мне наполнил, как вода, холодный воздух, я чуть не захлебнулся. Ложная весна кончилась, день потемнел, исполосованный ударами первых ветров зимы. Почему, интересно, вот такие сырые, бурые, поздние дни приводят мне на ум Париж? Может быть, потому что там сейчас ты? Я вижу тебя в черном пальто цокающей своими шпильками-каблучками по одной из таинственно пустынных вьющихся улочек — рю де Рю! — рядом с Люксембургскими садами. Вот ты останавливаешься на углу. Задираешь голову и смотришь на какое-то окно. Кто там ждет тебя за ставнями, с тлеющей сигаретой «Галуаз», с дымчатыми глазами, с нахальным недовольным видом? По тротуару скребутся и ползут большие лапчатые листья. В парке под

облетающим платаном играют дети, их голоса доходят до тебя, как воспоминания. Ты думаешь, что будешь жить всегда и всегда останешься молодой. Надеюсь, что он тебя бросит. Что он разобьет твое сердце. Надеюсь, что как-нибудь однажды, не сказав ни слова, он уйдет из твоей жизни, и ты погибнешь.

Зачем я так извожу себя? Я ужасно, бесконечно устал.

По Хоуп-эллей шел человек в плаще и вязаном шерстяном колпаке с помпоном, шел и громко плакал, утирая ладонью слезы с больных покрасневших глаз.

Идя по продутым ветрами улицам, я опять испытал это гадкое ощущение, что за мной следят, почувствовал щекотную мишень между лопатками. Я задерживался перед витринами, притворялся, что завязываю шнурок, а сам скрытно шарил взглядом справа и слева. Поразительно, какими странными кажутся люди, когда высматриваешь в их толпе определенное лицо. Они превращаются в ходячие восковые фигуры, до мелочи правдоподобные, но совсем не убедительные копии самих себя, с размытыми, безличными чертами, со скованными, забавно нескоординированными движениями. Тем не

менее, когда из толпы выделилась ухмыляющаяся круглая голова и кубистское лицо Хэккета, я его не узнал, пока он не заговорил. Я-то ожидал увидеть Лупоглазого или Папаню, а то и еще кого-нибудь похуже. Он стоял под аркой на Фоун-стрит, держа руки в карманах застегнутого на все пуговицы и перепоясанного макинтоша, еще больше прежнего похожий на увеличенного деревянного солдатика, липкого от лишних слоев лака. Мы обменялись рукопожатием — необычная обязательная внушительная формальность. «Как делишки?» — спросил он, воспользовавшись двусмысленным выражением, к которому, как и Папаня, питал пристрастие.

Мы прошли под аркой и свернули на набережную. Ветер свистел в брызгах над самой водой, волны громоздились и рушились, точно груды больших картонных коробок. «Зима на носу», — сказал Хэккет, глубже запихивая руки в карманы крысино-серого макинтоша и зябко прижимая локти к бокам.

— Я так понимаю, чтобы стать экспертом, надо много потрудиться? — раздумчиво проговорил он. — Столько книг прочитать, и вообще. — Он искоса взглянул на меня с шутливой улыбкой. — Ну, да у вас для этого времени было вдоволь, а?

Мы остановились. Он облокотился о парапет и некоторое время молча смотрел, как вскидываются кверху волны. Колючие капли холодного дождя падали сверху под острым углом. Я рассказал ему о том, как Папаня пришел в гости в шубе и бархатном платье. Он посмеялся.

— Да, это на него похоже. Совсем сбрендил. Он мне письма пишет, представляете? На всякие темы: о том, как вылечить рак, и что папа Римский — еврей, в таком духе. Полный псих. Он знает, что я знаю, что картины у него. Вопрос в том, где они?

Теперь мне кажется, что самые значительные события в моей жизни всегда совершались под знаком страдания, страха и оторопи, когда, глядя уже со стороны и с трудом веря собственным глазам, я постепенно, с ужасом осознавал, что я наделал. Над моей головой проступает твое лицо, точно вырезанная из тыквы маска в День Всех Святых, губы плотно сомкнуты, на меня направлен предостерегающий взгляд.

— Они у Мордена, — так тихо, что самому не слышно, произнес я и в отчаянии чуть не расплакался. — У него в доме есть одна комната… — Ты отворачиваешься от меня, я помню, как ты повела рукой и сказала: «Совершенно свободна».

Хэккет, наморщив лоб, смотрел на воду, словно что-то лениво подсчитывал в уме.

— Вот оно что, — отозвался он наконец вполне миролюбиво. — И как на ваш взгляд, они настоящие?

— Да, — кивнул я. — Подлинники.

На мгновение водянистый отсвет солнечного луча упал на замшелую стену парапета, зелень заблестела. Хэккет дохнул себе на ладони и крепко потер их.

— Значит, теперь вопрос в том, как он будет вывозить их за границу.

Мы двинулись дальше. Неожиданно нас нагнал автобус и, шурша высокими шинами, проехал мимо, за ним, клубясь и завихряясь, тянулся хвост дождя и бензинного перегара. Я думал: что я сделал, что натворил? Но я знал. Знал, что я сделал.

— Между прочим, — сказал Хэккет, — я ведь говорил вам, помните? Что он еще что-нибудь такое сделает. — Я не понял, и он шутливо ткнул меня локтем в бок. Тот тип с ножом, пояснил он. — Это уже третий раз. — Он поежился, сдавив локтями бока. — И по моим понятиям, на этом не остановится.

В доме, когда я вернулся, стояла тишина. Дверь в ванную была открыта. Из нее на площадку

желтым экспрессионистским клином падал жидкий свет голой лампочки и переламывался на перилах. То, что я по первому взгляду принял за ворох тряпья на полу, при ближайшем рассмотрении оказалось тетей Корки. Она лежала, упираясь затылком в составленную гладильную доску и подогнув под себя одну ногу и одну руку. Совсем как выпавший из гнезда птенец: горстка хрупких косточек, тощая шейка свернута, тельце закоченело. Было ясно, что она мертва. Я был на удивление спокоен. Я чувствовал, главным образом, огромную досаду: это уж слишком, знаете ли, право же, слишком. Стоя над нею, руки в боки, я ворчал себе под нос что-то в этом духе, сам не знаю точно, что. И тут она вдруг застонала. Я вздрогнул. Мне стало еще досаднее — представьте себе носильщика перед багажом, за который неизвестно как ухватиться. Мне бы, конечно, не следовало ее трогать, я пересмотрел достаточно фильмов, чтобы это понимать («Не прикасайтесь к ней, сэр, лучше подождем врача!»). Однако, как всегда не подумав, я опустился на корточки, ухватил ее за локоть и за колено и взвалил себе на плечи — по-моему, этим приемом пользуются пожарные. Она оказалась такой легкой, я даже подумал на минуту, что рука и нога у нее ото-

рвались, а тело осталось лежать на полу. Шелк платья под пальцами был как гладкая, прохладная кожа. Она обделалась, но совсем чуть-чуть: отходы старческой жизнедеятельности невелики; как ни странно, даже запах не вызвал у меня отвращения. Я двинулся вверх по лестнице, как будто нес отвязанную палатку вместе с колышками. Или вроде Барбароссы с его драгоценными трубками. Слышно было, как птичье сердечко тети Корки колотится о клетку ребер. «Ох, Господи, сынок», — произнесла она, да так отчетливо и над самым моим ухом, я чуть не уронил ее от неожиданности. По крайней мере эти слова мне послышались, а может быть, она сказала что-то совсем другое.

Долог был наш скорбный путь вверх по лестнице. Ноша, поначалу казавшаяся пустячной, с каждой ступенькой становилась тяжелее, и на площадку я взошел уже согнувшись в три погибели, ручьи пота заливали мне глаза. А как, интересно, я буду доставать из кармана ключ от квартиры? Опустить ее пока на пол или держать на плечах одной рукой, а другой шарить по карманам? Но, к счастью, оказалось, что дверь на наружной задвижке. Входя, я умудрился задеть тетиной головой о косяк и услышал ее стон.

Потом доктор Муттер диву давался, как она пережила восхождение, это со сломанным-то бедром и развивающейся аневризмой! Но я хотел как лучше, тетушка, честное слово. В те несколько минут, что мы поднимались по лестнице, ты была моя жизнь, все, чего я не успел в ней совершить, не говоря уж о тех двух-трех поступках, которые совершил, а не надо бы. Я хотел спасти тебя, вернуть в этот мир, срастить переломанные косточки и поставить тебя на ноги. Но вышло так, что я только ускорил твой конец. Хоть бы ты не оставляла мне своих денег.

Я внес ее в спальню и со всей возможной осторожностью свалил на кровать — сначала носильщик, затем пожарный и вот теперь поставщик угля. Тетя Корки и пружины матраса жалобно простонали в унисон. Ее веки дрогнули и поднялись, но глаза отсутствовали, всматривались в какие-то немыслимо дальние дали. Я сделал шаг назад и перевел дух. Я знал, что надо делать дальше. Платье снялось легко (эти руки-спички!), но под платьем были какие-то замысловатые одежки на завязках и бретельках, которые пришлось распутывать, стягивая и чертыхаясь. Удивительная, таинственная вещь — человеческое тело. У меня мелькнула мысль,

что впервые за всю мою жизнь, сколько себя помню, я смотрю на голую женщину и не испытываю желания. Я подумал о тебе, содрогнулся, поскорее прикрыл иссохшую плоть тети Корки и пошел на кухню за тряпками и тазом. Двигался я как обезумевший автомат, зная, что стоит мне на миг остановиться и задуматься, и нервы мои сдадут, я вполне могу броситься вон, захлопнуть за собою дверь и никогда уже не возвратиться. Вернувшись в спальню, я был слегка удивлен, что моя тетка все еще здесь, хотя как и куда она могла, по моим представлениям, деваться, не знаю. Я зажег было лампу при кровати, но тут же выключил: слабого света из окна с лихвой хватало для дела, которое мне предстояло. Задержав дыхание, я откинул одеяло, убрал грязные тряпки из-под ее ягодиц и, как смог, обмыл ее водой с мылом. Отводя в сторону одну ногу, я услышал сухой хруст, как я теперь понимаю, это скрежетали концы сломанной кости. Закончив, я укрыл ее — она лежала такая холодная — и спустился на первый этаж, к телефону, чтобы вызвать подмогу. Но забыл захватить монеты и вынужден был снова, прыгая через ступени, подняться наверх. Таким он и остался у меня в памяти, этот день, — я все время куда-то мчусь, перелетая огромными, отча-

янными прыжками то в спальню, то в кухню, то на лестницу, точно ошалелый балетный танцор.

Позвонил я в «Кипарисы». Сам того не сознавая, набрал их номер и опомнился, только когда услышал визгливый голос миссис Хаддон. Я сразу тоже принялся орать на нее. «Мне нужен доктор!» — кричал я опять и опять возбужденно и с какой-то жуткой радостью, а она мне опять и опять что-то кричала в ответ, но я не разбирал слов, что-то такое в том смысле, что, мол, она же мне говорила, а может быть, она произносила имя доктора Муттера, «Гавриил», или «Жером», в таком духе. Факт таков, что когда наши вопли на минуту стихли, она твердым голоском сообщила мне, что доктор Муттер там, стоит рядом, и заедет по пути домой — если у него получится со временем. Это последнее «если» вызвало у меня новый залп воплей, так что в конце концов сосед с первого этажа, палач на покое, выставил из двери встрепанную голову и пробуравил меня негодующим взглядом. Тогда я перевел дух и спокойно и внятно сказал в черную запотевшую дыру телефонной трубки, что моя тетя умирает. Подействовали, по-моему, не столько слова, сколько внезапное спокойствие моего голоса. Последовала пауза, миссис Хаддон с размаху прикрыла трубку ладонью, словно дала

мне пощечину, а потом снова окликнула меня и сообщила, что доктор выезжает.

Весь дрожа после этих переговоров, я снова помчался наверх. Из открытой двери квартиры раздавался теткин голос, и снизу вверх по спине и поперек лопаток у меня побежали мурашки. С кем она разговаривает? Обмирая, я вошел в квартиру, закрыл за собой дверь, подкрался на цыпочках к спальне. Я решил, если там Папаня, каким-то образом проскользнувший наверх, пока я говорил по телефону, тогда я убью его. Я уже воображал, как подбираюсь к нему сзади с кочергой в руке и… Но в спальне никого не оказалось, одна тетя Корки лежала на спине и рассуждала, обращаясь к потолку. Глаза ее были открыты, но смотрели все с тем же отдаленным, озабоченным выражением. Ветер захлопнул дверь, говорила она, вдруг поднялся среди ночи страшный ветер, и дверь захлопнулась. Говорила она испуганно, словно об ужасном стихийном бедствии. Мне представилась жуткая картина: темные предметы мебели затаились, припав к полу между блеклыми бликами света, бидермейеровские напольные часы мерно прищелкивают длинным языком, и вдруг — движение, переполох, словно прошел какой-то слух, сильный порыв ветра,

и дверь с размаху захлопывается, как ловушка. Крупная теткина кисть лежала поверх одеяла и слабо подергивалась. Я взял ее руку: она была холодная и сухая, и при этом почему-то скользкая. Мне казалось, что я сижу тут уже много часов, но день за окном почему-то все не проходил, небо стояло высоким куполом дымчатого света. Я отошел к окну и стал смотреть вниз на спутанные тени сада, думая о тех бессчетных таинственных жизнях, что под ними скопились. А по небу ветер разметал стаю грачей, будто обрывки черной бумаги. Я прижал лоб к холодному стеклу — в стекле тоже чувствовалась тихая пульсация. Подкрадывалась ночь. Я не узнавал сам себя. У меня за спиной скулила старуха. Я стал прохаживаться взад-вперед по комнате, шепотом считая шаги. Один, два, три, четыре, пять, шесть, поворот. Отчего-то время здесь странно медлило — день-то уже, конечно, кончился, но небо продолжало тихо тлеть. Тетя Корки неподвижно лежала на спине с закрытыми глазами, точно надгробное изваяние самой себя, здесь и одновременно не здесь. Мне захотелось громко произнести хоть одно слово, услышать собственный голос, но не приходило в голову, что сказать, и к тому же я стеснялся. Странное одиночество. Один, два, три,

четыре, пять, шесть, поворот.

Эти полчаса я помню удивительно ярко и отчетливо. Ничего не происходило — совершенно ничего, как бывает, когда подымаешься в лифте или ждешь какого-то известия, а оно все не поступает, — но при этом у меня было ощущение, будто совершается нечто большое, настолько огромное, что его не замечаешь, вроде поворота Земли навстречу ночи. Я словно проходил ритуальное испытание или обряд очищения: тени, одиночество, грачиный грай, спящая старуха и я, вышагивающий взад-вперед в густеющем сумраке. Когда наконец внизу непривычно протяжной, пронзительной трелью прозвенел звонок, мне послышалась в нем настойчивая литургическая нота.

Я открыл входную дверь, и доктор Муттер боком, торопливо проскользнул внутрь, словно какой-нибудь шпион или человек, спасающийся от погони. Долговязый и несуразный, с маленькой, аккуратно вылепленной головой на длинном стебле шеи, он напоминал тех горемык, что в последнем классе средней школы вдруг вымахивают футов до шести — сплошные запястья, колени и костлявые страдания. У него была привычка, как миссис Хаддон, разговари-

вая, смотреть вбок, будто вдруг вспомнил что-то ужасное совсем из другой области. Доктор озабоченно пожал мне руку, глядя на стену повыше моего плеча, и усталыми шагами поднялся вслед за мною по лестнице, вздыхая и что-то тихо говоря, только непонятно, мне или самому себе. В спальне я сразу включил верхний свет, и он минуту постоял на пороге, сутулый, с докторским чемоданчиком в руке, разглядывая тетю Корки на расстоянии. Потом просунул скрюченный палец под воротничок — это уже скорее как Хэккет, — оттянул, вздернул подбородок, скривил рот и судорожно сглотнул. «Хм-м-м», — промычал он неопределенно. Тетя Корки, пепельно-бледная, заметно усохла, пока я ходил открывать дверь. Нелепый златокудрый парик по-прежнему был у нее на голове. Доктор Муттер опустил ей ладонь на лоб и снова произнес: «Хм-м-м!» — вложив в это междометие больше озабоченности, чем в первый раз, и нахмурил брови, как полагается в их профессии. Я ждал, но больше ничего не последовало. Тогда я сам, с некоторым раздражением, сообщил ему, что по-моему, она сломала ногу. Он словно не слышал. Обернувшись ко мне и глядя на окно у меня за спиной, он объявил:

— Надо, я полагаю, вызвать «скорую помощь».

Снова телефон, и еще один период тупого ожидания. Я ходил из угла в угол, доктор Муттер бормотал. Потом внизу на улице «скорая помощь» с синей фарой на крыше, и два добрых молодца-санитара с носилками, и когда спускались вниз по лестнице, из каждой двери выглядывало любопытное, сочувствующее лицо. Внизу я стоял в стороне, пока они загружали в машину мою тетку. Освещенная внутренность кареты напомнила мне Рождественские ясли. Ночь вокруг этой передвижной колыбели была бурная, непогожая, в черном небе сражались шумные силы. Тетя Корки лежала привязанная ремнями и прикрытая одеялом цвета засохшей крови. Редкие закутанные прохожие замедляли шаг и тянули шеи — заглянуть. К открытой задней двери подошел водитель и протянул мне руку. «Тут есть еще место», — сказал он мне. Я не сразу понял, о чем он. Доктор Муттер уже сидел возле тети Корки, держа саквояж на коленях. В неоновом свете и врач, и пациентка казались одинаково бледны. Я нехотя вскарабкался к ним. Большая машина покачнулась под моим весом.

Больница… Про больницу тоже надо? Ветер над дверью приемного покоя раскачивал висячую лампу, почему-то в моей памяти — газовую;

внутри — длинный коридор с сопливо-зелеными стенами, там мою тетю на каталке оставили стоять, как железнодорожный вагон на запасном пути. Пахло теплой кашей — запах, сразу перенесший меня в раннее детство. Где-то рядом занудно любезничала невидимая парочка, похоже, что врач и сестра. Затем засуетились крахмальные халаты, резиновые подошвы зашлепали по резиновым дорожкам, и тетю Корки куда-то спешно увезли.

Потом я увидел ее уже в темно-зеленых стенах подвала при тусклом, стоячем водянистом освещении — и с трудом узнал. Парик с нее сняли, жидкие космы собственных волос оказались того же ржаво-рыжего оттенка, что и у меня. Обнажившаяся кожа на голове была бледная, пористая, как будто видишь уже голый череп. Вынули даже зубы, неизвестно зачем. Я тронул ее щеку, она была твердая, прохладная, но еще не холодная и слегка липкая, словно недавно вылепленная из глины. Я отступил на шаг и опять услышал, теперь еще отчетливее, тот черный ветер, что проносился через безмолвную европейскую ночь, и стук захлопнувшейся темной двери.

На плечо мне легла рука. Я вздрогнул, сердце чуть не выскочило от испуга. Сзади меня, состра-

дательно изогнувшись, стоял доктор Муттер. «На два слова», — тихо позвал меня он. Я пошел за ним и очутился в другом таком же подземелье — в камере без окон с железным столом и двумя железными стульями; с потолка свисала голая лампочка и подрагивала в такт с работой какого-то мощного мотора, беззвучно сотрясавшего все здание. Мы сели. Железные стулья заранее предостерегающе скрипнули. Доктор Муттер вдруг странно скособочился, словно собрался лечь щекой на железный стол; на самом деле он просто рылся в своем черном саквояже на полу. Достал какой-то помятый бланк, минуту с мрачным, сокрушенным видом вертел его в руках. Потом посмотрел в дальний угол и вздохнул.

— Они утверждают, будто она скончалась еще до прибытия «скорой помощи», — проговорил он и мельком, испуганно заглянул мне в глаза. — У меня не сложилось такого впечатления. А у вас?

Я рассматривал свои руки на краю железного стола; в дрожащем свете голой лампочки они приобрели зеленоватый отлив. Доктор снова вздохнул, на этот раз с раздражением, опять, по своей привычке, засунул палец за воротничок, оттянул и скривил рот.

— Я лично думаю, что им просто лень возиться

с бумагами, — проворчал он. — Но как бы то ни было, заполнять свидетельство приходится мне. Итак…

Он опасливо покосился на бланк и стал задавать вопросы, на которые я не знал ответов. Я объяснил, что, в сущности, почти не знал ее. Он помолчал, покачал головой, пососал ручку.

— Но она жила вместе с вами, — заметил он; тут я тоже не нашелся, что ответить. Получалось как-то неловко. Что я мог поделать? Я стал бессовестно сочинять даты, места — все, что он спрашивал. Придуманная жизнь. Я чувствовал, что тетя Корки была бы не против. Доктор удовлетворенно, чуть ли не насвистывая, заполнял графу за графой. Но вот мы подошли к щекотливому пункту: «причина смерти», и он снова затосковал, стал сосать ручку, ерзать на стуле, вздыхать и хлопать глазами, точно студент на экзамене, к которому плохо подготовился. За помощью он обратился опять же ко мне. Я скромно предложил «сердечную недостаточность». Он подумал и не согласился: «Нужно что-то более конкретное». Мы оба задумались. Он рассматривал потолок, я уставился в пол. Следующее мое предложение было — «удар». Доктор и к нему отнесся скептически, но я настаивал. «Ну лад-

но, — сказал он, — пусть будет удар». Еще немного помявшись, он нахмурил брови, склонился над бланком и после всех треволнений все-таки наконец вписал это слово, а потом откинулся на спинку стула с видом даже слегка недовольным и обиженным, словно решал кроссворд, а последнее слово угадал вместо него я. Готовым документом он помахал у меня перед глазами, как будто собирался показать фокус с исчезновением; я попробовал было разобрать его подпись, но не успел. Но вот он упрятал оформленное свидетельство к себе в саквояж, и мы оба неловко встали, похлопывая себя по карманам и озираясь в поисках неизвестно чего. Чувствовалось, что он хочет еще что-то сказать. Внезапно он схватил мою руку, сжал между ладонями, взволнованно тряхнул. «Сочувствую вам, — произнес он, стараясь глядеть поверх моего плеча, — в вашем горе». Сказал так, словно… словно я действительно понес тяжелую утрату; словно я и правда в горе. С чего это он взял? Я в смятении вытаращил на него глаза. А потом, ни слова не говоря, повернулся и вышел. Поразительно, как сказал бы Морден.

На улице непогожая ночь набросилась на меня со всех сторон. Черный дождь перечеркивал лучи фонаря, раскачивающегося над входом в

приемный покой, автомобильная стоянка рябила водой. На шоссе ветер шлепал огромными ладонями по мокрому гудрону, за автомобилями тянулись хвосты белой пены. Поймать такси долго не удавалось. Тот, что наконец подобрал меня, был сутулый и в шляпе, он напомнил мне таксиста, который вез меня в «Кипарисы» за тетей Корки, может быть, это вообще был тот же самый человек, вполне это допускаю. В совсем вдруг опустевшей квартире я повалился на кушетку — смогу ли я снова когда-нибудь лечь на кровать? — и заснул неспокойным, урывистым сном, все время слыша сквозь забытье, как причитает по тете Корки ночной ветер. Мне приснилось, что она пришла ко мне, спокойно села рядом, сложив на коленях крупные трудовые ладони, и много всего порассказала, только я потом ничего не мог вспомнить. Когда я проснулся, утренняя поздняя заря уже погасла. Мир снаружи казался заспанным и встрепанным после бурной ночи. Меня охватило странное, нездоровое, лихорадочное веселье; я чувствовал себя легким и полым, как выеденный и выскобленный горшок. В спальню я предпочел не заходить, в ванной было не лучше. Бреясь дрожащей рукой, я порезался. Я хотел увидеться с тобой. И это было все, о чем я мог думать:

мне надо увидеться с тобой.

7. АКИД И ГАЛАТЕЯ, 1677
Ян Вайбель (1630–1690)

Холст, масло, 18 x 27 1/2 дюймов (45,8 x 69,9 см)

Как спокойно любящие… Не могу. Как спокойно любящие лгут (и ты лгала мне). Как спокойны любящие в своем блаженстве. В блаженном неведении того, что из леса за ними наблюдают. Циклоп Полифем любит нереиду Галатею, которая любит пастуха Акида. Одноглазый великан осыпает неверную нимфу подарками (см. Овидий, «Метаморфозы», кн. XIII), но безрезультатно. Акид, сын и возлюбленный морских нимф, Акид должен умереть, раздавленный скалой, которую швырнет великан, а потом превратиться в речку (позже Одиссей посредством горящего бревна сведет за него счеты с циклопом). Картина Вайбеля тонка и многозначна: что тут является темой — муки ревности, или стыдное удовольствие от подглядывания, или желание торжествующей женщины, чтобы ее видел один в объятиях другого? В темном, больном искусстве этого художника

все неопределенно, кроме страдания. Роскошный солнечный пейзаж, на фоне которого разыгрывается эта маленькая любовная драма, напоминает пейзажи Ватто и Воблена, это одновременно и сад наслаждений, и портрет Природы, могучей и высокомерно жестокой. Буйное изобилие растений и животных служит символом безразличия мира к человеку. Даже сам Полифем не выглядит таким уж великаном под смыкающимися сводами леса и скал, где он затаился; великан здесь не он. Вон он спрятался в зарослях (видишь?), единственный его глаз выпучен от гнева и боли; просто ли его скрутила кручина или, может быть, он там мастурбирует с горя? Грязная шутка художника. Я чувствую близкое родство с этим грустным, истерзанным любовью великаном. Львы и медведи, быки и слоны (ясно, что Вайбель никогда не видел живого слона), напрасные дары циклопа бессердечной нереиде, разбрелись по всему полотну, словно заблудились, чужеродные, в этом северном пейзаже, среди нежной зелени, туманных теней и прозрачной синевы; чувствуется, что скоро, очень скоро они сбросят цепи растерянности и недоумения, и начнется кровопролитие. А любовники, укрывшись под массивной замшелой скалой, тесно сплелись,

как близнецы в материнской утробе. Голубая вода у ног Акида предвещает ожидающее его перевоплощение — зубчатая вершина скалы над его головой вот-вот обрушится и раздавит его. Галатея. Галатея. Она дочь Нерея. Она превратит убитого любовника в поток. Упавшая скала треснет, и в расселине вырастет упругий тростник, высокий, влажный, блестящий. Полифем и Акид — это я. И эта моя дикая песнь — та самая, что пел циклоп.

~~~

Не надо бы мне возвращаться на Рю-стрит в таком болезненном, потрясенном, обманутом состоянии. С утра еще не прошло похмелье вчерашней бури, ветер дул порывами, клочья облаков неслись по небу, листья и мусор летели во все стороны. Я шел словно на пружинах, ловил холодный воздух задранным носом и думал о загадке смерти. В этом мире больше не было тети Корки. То, что было ею, исчезло, развеялось как дым. Прости меня, тетя Корки, но в этом сознании было что-то бодрящее — не что тебя больше нет, понимаешь? А что столько всего еще осталось. Да, непонятно, я и сам так думаю, но не знаю, как сказать иначе. Наверно, приблизительно то же испытывает приговоренный к смерти, когда в последний миг ему объявляют о помиловании и уводят на резиновых ногах прочь от эшафота: смесь удивления с остатками страха и какой-то сумасшедшей торопливостью. *Еще, еще! Дайте мне побольше!* — таков клич оставшегося в живых. Я зашел в кафе на углу Дог-лейн, сел за столик среди табачного дыма и кашля и съел колоссальный
~~~

завтрак: сосиски, кровяную колбасу, и сэндвич с беконом, и яичницу, зажаренную до хруста в растопленном сале. Che barbaro appetito[10], lalala la! Я даже купил в автомате пачку дешевых сигарет с гроб величиной («Гулять, так гулять», — порекомендовал мне один завсегдатай и рассмеялся сиплым похоронным смехом), и хотя вообще я не курящий, я сидел и дымил вовсю, озирая зал со смутной улыбкой. Право же, мне иногда кажется, что я не в своем уме.

Перед домом на Рю-стрит стояли припаркованные как попало три автомобиля, в одном на заднем стекле болталась пластиковая собачка. Парадный ход зиял, дверь висела на одной петле, но все это выглядело скорее весело, чем страшно, словно дверь высадила вломившаяся в дом карнавальная процессия. Внизу в холле топтался плотный мужик в мешковатых грязных, но отутюженных штанах и синем блейзере с дымящейся сигаретой в горсти размером с небольшой окорок. Он смерил меня растерянным взглядом и что-то сказал, но я не расслышал и бросился к лестнице. На первой площадке дежурили двое, переминались с ноги на ногу со скучным и слег-

---

[10] Примечания: 10
Какой варварский аппетит! *(итал.)*

ка раздраженным видом посетителей, давно дожидающихся приема. Эти были в куртках, и я не сразу разглядел, что один из них небрежно держит на согнутом локте курносый автомат. Они посмотрели на меня с интересом, но я и эту пару тоже не удостоил внимания и поднялся на следующий марш. У входа в ателье стоял на страже еще один в куртке, и тоже вооруженный. Он спросил, кто я такой. Я ответил, что живу здесь; в конце концов, это была почти правда. Он нахмурил брови и дулом автомата сделал мне знак пройти. Я прошествовал мимо него с высоко поднятой головой и раздувающимися ноздрями. Почему-то я чувствовал себя непобедимым. Мог бы пройти сквозь стену, если нужно.

Однако за порогом я остановился, как всегда пораженный слепящим белым светом, льющимся из высоких, наполненных небом окон. На фоне ниспадающего полотнища, в профиль, как при нашей первой встрече, позировал Морден, подняв к свету крупное плоское лицо и засунув руки глубоко в карманы долгополого пальто. Ко мне он не обернулся. А посредине комнаты стоял инспектор Хэккет, подняв к глазам и поворачивая то так, то этак окровавленную левую руку и даже словно любуясь ею. В двух шагах от него,

вытянувшись по стойке смирно, сидел пес Принц и облизывался с вызывающим и одновременно смущенным видом; передние лапы у него дрожали. Рядом, положив ладонь собаке на загривок, сидел на корточках Франси. Он скользнул по мне безразличным взглядом.

— А-а, мистер М., — приветствовал меня Хэккет. — Входите, входите. Вы, как всегда, точно вовремя. — Он явно был в отличном расположении духа и еще ослепительнее обычного сиял чистотой. Гордо протянув ко мне раненую руку, он сказал: — Видали, что этот кобелина мне сделал? — Подсыхающая струйка крови тянулась через запястье и уходила в рукав рубашки. Мы вместе осмотрели рану. — Это не укус, а клыком распорото, — заключил Хэккет. — Видите?

Сзади послышались шаги. В дверь, вытирая руки большим белоснежным платком, вошел долговязый, тощий длиннолицый мужчина в твидовом костюме-тройке. Его некрупная голова, широкая в лобной части и сужающаяся к подбородку, была похожа на голый череп, только странно выдавалась вперед верхняя губа, как будто поверх своих зубов у него надета бутафорская искусственная челюсть. Он имел деловитый и самоуверенный вид медика — этот платок, эти

руки, — и на миг у меня перед глазами возникла картина: ты лежишь навзничь на постели в ворохе окровавленных простынь, одна туфля свалилась, одна безжизненно белая рука свисает до полу.

— Мистер Шарп! — приветливо встретил его Хэккет и указал окровавленной рукой на меня: — А это мистер… как, простите?.. мистер Морроу. Мистер Морроу, мистер Шарп.

Шарп смерил меня зорким взглядом и хмыкнул.

— Это вы — эксперт по живописи? — По тому, как блеснули его голубые глаза, я понял, что он прячет презрительную усмешку.

— Мистер Шарп прибыл из Англии, — с почтительным придыханием оповестил меня Хэккет. — Я решил, что недурно бы пригласить второго эксперта, — извиняющимся тоном пояснил он. — Как говорится, услышать еще одно мнение.

Шарп кончил возиться с платком, ловко заправил его в кармашек на груди, отошел к окну и стал молча глядеть на улицу, держа руку в кармане брюк. Морден не шелохнулся. Все ждали. Инспектор Хэккет деликатно кашлянул.

— Да, — произнес Шарп, словно отвечая ему. И

вдруг резко обернувшись, обвел взглядом Хэккета, Мордена и меня. — Это копии. Все эти полотна — копии.

Наступила пульсирующая тишина, словно все везде вдруг замерло, чтобы затем медленно, с трудом опять заработать. Шарп, довольный произведенным эффектом, ухмылялся, как мертвая голова. Морден повернул ко мне лицо, лишенное всякого выражения. Хэккет нахмурился, склонил голову набок, как бы прислушиваясь к тиканью мозгов у себя в черепной коробке. Постояв так, вытянул кровоточащую руку и сказал Шарпу: — Дайте-ка сюда ваш платочек. — Шарп сначала удивился, отступил на шаг, но потом с неудовольствием, брезгливо, выдернул платок из нагрудного кармашка и отдал. Хэккет старательно замотал рану, однако связать концы платка не смог и в замешательстве поднял голову — пришлось мне подойти и помочь. Я вспомнил продавщицу в цветочном магазине, куда когда-то, в прежней жизни, часто заходил, — она ловко умела вывязывать разные замысловатые банты одной рукой. Стоя совсем близко, я слышал дыхание Хэккета и ощутил его запах, горячий, влажный, спертый, — так же в моем детстве пахло инвалидное кресло, когда из него поднимали

нашего больного дядю. Странные вещи всплывают со дна памяти в такие минуты.

— Да, — еще раз повторил Шарп, довольно потирая бледные долгопалые руки. — Это копии. Вне всякого сомнения. Есть даже неплохие, относительно. Писаны, надо полагать с фотографий, вероятнее всего, со слепых репродукций в каталоге Попова, так называемом catalogue raisonné[11], коллекции Беренса. — Одна надменная, презрительная ухмылка, и с Поповым покончено. — Работали, судя по всему, два копииста. Любители. Холсты и рамы викторианские, краски поставляет старая почтенная фирма «Винзор и Ньютон». — Он доброжелательно вздернул брови и залюбовался своими ногтями. — Такие истинно английские фамилии, а? — Он искоса бросил хитрый, почти игривый взгляд в мою сторону. — Не представляю себе, как можно было такую мазню принять за подлинник?

Пес молча встал, подбежал и, плавно, гибко изогнув спину, уселся возле меня. Я положил ладонь ему на голову. Его шерсть была на ощупь скользкая и колючая, как пластиковая щетка, и уютно пахла старым ковром. От красивой зве-

---

[11] Примечания: 11
каталог с объяснениями *(фр.).*

риной головы ко мне в руку исходило мирное, сочувственное тепло. Говорят, собаки чуют испуг; возможно, эта собака почуяла… что? Потрясение? Но я никакого потрясения не испытал. В заявлении Шарпа прозвучало что-то удивительно, неуловимо знакомое, как давно ожидаемая новость, которая, когда наконец поступает, то оказывается уже и не новостью вовсе. Мысли мои двигались замедленно, точно в толще воды. Очень хотелось сесть, забиться в темный тихий угол и тщательно все обдумать. Было над чем поломать голову.

Морден наконец-то все-таки обернулся и сказал Хэккету:

— Я же говорил вам, что это копии.

— Подделки, — уточнил Хэккет.

Пес негромко заворчал. Франси шлепнул его по носу.

— Копии, — повторил Морден с нажимом и улыбнулся.

Голл, сообразил я. Маляр Голл и мазила Пэкки Планкет.

Хэккет разглядывал свою забинтованную лапу. Меня восхитило его самообладание.

— Они подписаны, — заметил он как бы между прочим, словно думал на самом деле о чем-то

совершенно другом.

Морден изобразил изумление. *«На что это вы намекаете, инспектор?»* — произнес он с выговором великосветского персонажа из мюзик-холла. Шарп, который стоял у окна, надменно скрестив руки и выпятив цыплячью грудь, рассмеялся. Морден, глядя в пол, медленно вышел на середину комнаты и почти сочувственно покачал головой. Хэккет смотрел в окно.

— Разве я пытался выдать эти картины за подлинники? — воскликнул Морден. — Собирался кого-то обмануть? Нет. Это копии. Сделаны по моему заказу. Я люблю живопись. Я намерен повесить их в своем доме. В своем доме во Франции. В своей вилле на Ривьере. Это что, преступление?

Хэккет обернулся и…

Уф-ф. Надоело. Может, пусть Принц еще кого-нибудь цапнет, вырвет клок из полосатой икры Мордена или нападет на Франси и вцепится ему в горло? Да нет, пожалуй, не стоит. Я стоял, гладил Принца по голове и слушал, как они пререкаются, голоса гудят, словно долетают издалека. Я впал в затуманенное, сомнамбулическое состояние, почти спокойное и не лишенное приятности. У меня так быстро и ловко выдернули из-под ног половичок, что я и сам не заметил, как полетел

вверх тормашками и шмякнулся затылком об пол.

Потом я оказался на улице вдвоем с Хэккетом; в дружном молчании мы идем к его машине. Люди Хэккета, также ни слова не говоря, уже уложили оружие и уехали. Он сел за руль, завел мотор. Я стоял у распахнутой дверцы, засунув руки в карманы макинтоша. Опять моросил дождь, порывы ветра швыряли и крутили снопы легких микроскопических капель. Ноябрь. Я сказал Хэккету, что у меня умерла тетка. Он кивнул, но ничего не ответил, глядя вперед сквозь лобовое стекло. Неужели ему известно про тетю Корки? Может ли быть, что он так осведомлен в обстоятельствах моей жизни? Подобное допущение было даже утешительным, мне всегда хотелось, чтобы за мной смотрели. Хэккет вздохнул и потянул ручку скоростей. «С этой собакой надо что-то делать», — рассеянно сказал он. Его левая рука было все еще забинтована окровавленным носовым платком Шарпа. Я захлопнул ему дверцу, и он поехал по переулку со скоростью похоронных дрог.

На обратном пути мне встретились Морден и Франси в сопровождении пса (Шарпа уже завернули в бумажку и отложили для будущих нужд). Морден шагал с торжествующим видом

школьника, отмочившего лихую штуку. Человек упивался собой, как сказала бы моя мать. Весь с головы до ног закутанный в свое долгополое пальто, руки засунуты глубоко в карманы, воротник поднят: дождь. Когда они поравнялись со мной, Морден посмотрел мне в глаза как ни в чем не бывало, хотя, конечно, по обыкновению сдерживая смех. «Очень сожалею насчет картин, — сказал он. — Шутка». Торопливо кивнул, и они проследовали дальше колонной по одному: сатрап, визирь и геральдический зверь. Франси и пес, оба ухмыляясь, оглянулись на прощание. Мне будет недоставать старины Принца.

Раз уж я теперь разговариваю лишь с самим собой (да еще, может быть, с оглоушенным одиночкой, оставшимся в живых после Армагеддона, в обмотках и продавленном цилиндре, от не хрена делать переворачивающим по ночам в землянке эти обожженные листы), мне вроде бы незачем заботиться о стройности композиции, однако же я все-таки забочусь. Например, меня смущает, что в этом месте у меня возникает проблема с временем. После Дня Откровения получается пропуск. До похорон тети Корки должны были пройти по крайней мере сутки, но у меня в памяти от них ничего не сохранилось.

Наверняка я делал попытки как-то увидеться с тобой; уж конечно, зная все, что я теперь знал, и еще многое, что мне предстояло узнать, я прежде всего должен был бы искать встречи с тобой. Но я не приближался к Рю-стрит, где меня ждали капканы и люди с ружьями, а затаился в норе и зализывал раны.

День похорон тети Корки выдался ясный, хотя и холодный. Сияло бессильное осеннее солнце. Приехал Папаня. Каким образом он проведал место и время, Бог весть. Я сам удивился, что так обрадовался его появлению. Тетя Корки тоже, конечно, была бы рада. Большой автомобиль, несуразно розовый среди темных кладбищенских тисов и жестикулирующих надгробных ангелов, прикатил по центральной аллее и, клюнув носом, с ходу остановился. Наружу кубарем вывалился Лупоглазый в своем слишком просторном костюме и рывком распахнул заднюю дверцу; оттуда, кряхтя и отдуваясь, выполз Папаня, выпрямился и удовлетворенно огляделся. Сегодня он был в простом черном костюме и темном пальто, а не в маскарадном наряде, что я счел знаком уважения к усопшей — если, конечно, само это скромное одеяние не было маскарадом. Углядев меня, он величественно двинулся в мою

сторону, рассекая выпяченной грудью воздух, точно океанский лайнер, рассекающий волны, и степенно потряс мою руку. «Она была достойнейшая женщина, — проговорил он, кивая и собирая губы в трубочку. — Достойнейшая». После чего отступил в сторону, многозначительно посмотрел на своего лупоглазого недоумка, и тот, смущенно приблизившись, протянул мне неожиданно изящную пухлую лапку с мягкими пальчиками (где?.. чья?..) и, не поднимая глаз, пробормотал что-то, я не разобрал, что. Затем мы втроем в молчании, как положено, прошли по еще зеленой траве и встали у края могилы. Ничто так не роднит живущих, как похороны. А небо было по-прежнему высоким и голубым. Тут же стояли патер и могильщик, а также, к моему удивлению, сложив ладони перед ширинкой и низко понурив голову, мистер Хаддон в черном. Его круглое гладкое лицо на холоде слегка разрумянилось, жидкие светлые волосы казались прозрачными. Он посмотрел на меня со старательным состраданием и снова понурился. Церемония не затянулась. Патер споткнулся на труднопроизносимой теткиной фамилии. Как только были произнесены молитвы, выкатился канареечно-желтый механический копатель и

странно человекообразными угловатыми жестами принялся черпать из кучи землю, точно идиот-ребенок, который горстями ест глину. Я сразу повернулся и ушел, боясь, чтобы со мной не заговорил мистер Хаддон. Но Папаня прилип ко мне прочно.

Мы зашли в кабак по соседству с кладбищем, чтобы, как он выразился, «распить похоронную». Я люблю питейные заведения в утренние часы, мне нравится их помятый, не прибранный, смущенный вид, как будто только что после ночной попойки. Этот кабак оказался из новехоньких, оформленных в старинном стиле, с пластиком под дерево и начищенной медью и с множеством чисто протертых, но почему-то подслеповатых зеркал. Через верх окон тянулись внутрь полосы солнечного света, будто снаружи на тротуаре выставлены батареи мощных прожекторов. Мы усаживаемся за столик в полутемном тихом углу и Лупоглазого посылаем к стойке за выпивкой. Папаня провожает его скорбным взглядом и, вздыхая, спрашивает: «А у вас-то самого есть дети? Я слыхал вроде, у вас сын был…»

Лупоглазый возвращается с выпученными от напряжения глазами, зажав между ладошками три полные кружки, и когда лицо его попало в

солнечный луч, в нем мелькнуло что-то такое — его и вроде не его, а откуда-то мне знакомое (все это я, конечно, бессовестно описываю теперь, задним умом). Он поставил кружки на стол. Папаня молча поднимает свою в память покойницы, щедро отпив, ставит и слизывает с верхней губы белые усы. А после этого, вальяжно откинувшись на спинку стула и сложив руки на животе, принимается объяснять мне, какой метод поведения на допросах он изобрел за все эти годы, ему ведь часто приходится иметь дело с полицией. «Главное — рта не раскрывать, что бы ни было, — поучает он меня. — Это их в бешенство приводит. А знаете, какой самый верный прием? Скажи-ка ему, Сирил. — Лупоглазый хихикнул, покосился по сторонам и, соединив у себя на коленях в кольцо большой и указательный пальцы, задергал рукой вверх-вниз, вверх-вниз. Папаня кивнул. — Вот именно. Вытащи своего дружка и сиди дрочи прямо у них на глазах. Совсем сбивает их с панталыку, можете мне поверить. Хе-хе. Испытаю на Хэккете, когда он привлечет меня для помощи в расследовании. — Он опять хохотнул и шлепнул себя по колену, но потом спохватился, по какому поводу мы тут находимся, посерьезнел, откашлялся и спрятал нос в кружку. Над

столиком нависло неспокойное молчание, Лупоглазый ерзает на стуле, обводит бар скучающим взором и тихо насвистывает сквозь зубы. Папаня, развалясь, весело поглядывает на меня и что-то прикидывает в уме.

— А где же картины? — спрашиваю я. — То есть те, настоящие?

Лупоглазый замер и перестал свистеть. Папаня замялся на мгновение, но потом со смехом покачал головой и властно поднял ладонь.

— Э, нет, — сказал он. — О делах ни слова. Надо уважать покойников. Я теперь занимаюсь экспортом. Выпьем-ка еще. — На губах у него заиграла лукавая злорадная ухмылка. — А Морден заплатил вам за работу? Вы вот что, представьте ему счет. И все перечислите: *за экспертный анализ — столько-то и столько-то.* Вы честно заработали. — Тут он смолк, подался всей тушей вперед и приблизил свое лицо к моему. — Или, может, вы уже получили что хотели? — Он подождал, посмотрел, как я отреагирую. — Она — товар доброкачественный с гарантией. Красотка без подделки. — Он поднял и осушил свою кружку и напоследок сладострастно подмигнул.

Я бежал по улицам на Рю-стрит. Жидкий солнечный свет сделался резким, наэлектризо-

ванным. Всю жизнь я только и знаю, что попадаю впросак. Ее, конечно, не было. Не было и картин, и моего стола, книг, инструментов; ничего не было. Раскладное кресло стояло составленное, постельные принадлежности исчезли. Словно мы здесь никогда и не бывали. Я обежал весь дом, носился вверх и вниз по лестнице, как ошалевший паук, не переставая бормотать себе под нос. Комичное, наверно, было зрелище. Я ее лишился, это было ясно, но все равно не прекращал лихорадочных поисков, как будто безумным кружением по опустевшему дому надеялся вызвать живое видение прямо из воздуха. Наконец, обессилев, я вернулся в нашу пустую комнату, опустился в кресло и долго сидел, я думаю, что долго, уронив дрожащие руки на дрожащие колени и устремив взгляд за окно на крыши и мирное небо. Я знаю, мысль невозможно отключить, но бывают мгновения, когда ее одевает милосердный туман и сквозь него беспомощно проглядывают неузнаваемые предметы. На отдаленную крышу, осторожно карабкаясь между дымовыми трубами, вылез рабочий в комбинезоне; он кажется неправдоподобно огромным — руки растопырены, голова квадратная, ноги-колонны. Я стал наблюдать за ним. Что он там делает? Вчуже, но

с мрачным восторгом я задумался о том, каково было бы броситься вниз с высоты: принимающее объятие воздуха, неожиданная скорость падения, и все вертится и качается перед глазами. Успеешь ли услышать удар и шмяк, прежде чем придет беспамятство? Я встал и собрался уходить и только тут обнаружил ее записку, карандашом на обрывке серой картонки от спичек, приколотую булавкой к подлокотнику кресла. Записка сказала ее голосом: *«Должна уехать. Прости. Напиши мне».* Подписи не было. И адреса тоже. Я снова опустился в кресло, у меня вдруг перехватило дыхание, будто от удара под дых. И до сих так и не отдышался.

Если бы только можно было на этом поставить точку…

Не знаю, как долго раздавались те звуки, прежде чем я их услышал. Собственно даже не звуки, а модуляции беззвучности. Я на цыпочках стал спускаться по лестнице, через ступеньку останавливаясь и прислушиваясь. В подвале было темно. Только в конце коридора из круглого оконца под потолком сочился тусклый свет. Запахи: льняное масло, скипидар, старый столярный клей. Я вспомнил, как в первый день, прижимая к себе мой локоть, вся сквозя возбужденным смехом, А.

привела меня сюда. Она тогда показала мне то, чего я не пожелал увидеть, не захотел понять.

Из темной глубины донесся тихий смешок Франси. Его голос сказал: «Вы тоже? Как евреи, которых Иисус оставил во тьме?» Речь его была не вполне внятной. Я щелкнул выключателем, и Франси ладонью загородил глаза от слабого света голой лампочки. Он лежал на полу возле верстака на подстилке из тряпья и старой одежды. «Сигаретки у вас, конечно, не найдется?» — спросил он. Но у меня как раз лежала в кармане пачка сигарет, купленная утром в кафе (тысячу лет назад!), помятая, но сохранная. Такое неожиданное совпадение — или что это было — показалось мне комичным. Франси приподнялся и сел на подстилке, шаря по карманам в поисках спички. Если бы не знакомый порыжелый костюм (кусок подкладки болтался из распоротого лацкана, как высунутый язык) и рыжие космы на голове, я бы, пожалуй, его не узнал. Разбитое, заплывшее лицо, похожее на мясной гриб-дождевик, резиновые губы и фиолетово-желтые затекшие глазницы. Не хватает одного верхнего резца, и всякий раз, чтобы что-то произнести, язык сначала пристраивается к новым условиям. Рука, держащая сигарету, дрожит, распухший указа-

тельный палец торчит, не сгибаясь, под косым углом. Я сел рядом с Франси на пол, обхватив руками колени. От него исходил теплый запах крови и измочаленной плоти. Он посмотрел мне в глаза, усмехнулся, закашлялся. Я спросил, что случилось. Он пожал плечами. «Приятель ваш Хэккет. Схватил меня для разговора по душам. А что я ему мог сказать? Морден адресок оставить забыл».

Мне представилась длинная прямая дорога, два ряда тополей, в отдалении — гора в желто-зеленых тонах. ПЭЙзаж. МАЙдемуазель.

Дальше, как я выяснил, идет пробел — сердце дарит себе краткую милосердную передышку от осознания утраты до нахлынувшего горя. Это осуществляется простой — или немыслимо сложной — манипуляцией: между дверным косяком и внезапно захлопывающейся дверью вставляется клинышек, так что пусть не надолго, но остается щелка света. В моем случае клинышком служит любопытство. Мне вдруг во что бы то ни стало захотелось узнать, как они это все осуществили и для чего, разобраться в хитростях ремесла подделок, приобщиться к тайнам великого обмана. На самом-то деле мне было все равно. Сидя на полу рядом с Франси, как в полутемном гроте Пира-

нези, я стремился только обратить это событие в сказку, в фантазию, нереальную и нестрашную.

— Красили Голл и Планкет, — пожав плечами, разъяснял мне Франси. — А рамы сколачивал я. Тут внизу. — Он взмахнул рукой, указывая, и поморщился от боли. — Днем и ночью, неделю напролет. И что я за это получил? — Он обвел взглядом разорванный пиджак и сломанный палец. — Сушили под лампами. Краски еще липли, когда он вам показывал. Но вы ничего не заметили.

Чертовщина.

— А зачем это? — спросил я.

Он прищурил налитый кровью глаз и сделал попытку ухмыльнуться.

— Охота узнать, а?

Прислонившись затылком к ножке верстака, он молча затянулся сигаретой.

Кстати говоря, оказывается, человек по фамилии Марбот существовал на самом деле. Да, это реальное лицо, даже если все остальное обман. Поразительно.

Франси вздохнул.

— И беднягу Принца Хэккет распорядился убить, — сказал он.

Я вышел на воздух. Мир вокруг был огромный

и какой-то выпотрошенный. Я вообразил, как остаток своих дней буду жить, бессмысленно брякая, как сухая горошина в этом великанском пустом стручке. Домой я брел медленно, осторожными мелкими шажками, словно бережно нес на руках самого себя. Было пасмурно, на перекрестках ветер вздувал грязные полотнища измороси. Все вокруг дрожало и мерцало, обведенное по контуру холодным огнем, как при мигрени. У себя в квартире я, помнится, долгие часы провел, бесцельно расхаживая по комнатам или сидя у окна и следя за тем, как, разгоревшись закатом, тихо угасает зимний вечер. Я вытащил из-под кровати чемодан тети Корки и стал перебирать ее вещи. Пришлось повозиться. Скорбный дождливый свет вползал в окно. Я развертывал пожелтевшие бумаги, они, шурша, с готовностью раскручивались, как папирус, спеша выдать ее тайны. Она оказалась такой же голландкой, как я. Перед войной она недолгое время была замужем за инженером, который приехал из Голландии строить мост и который бросил ее, как только был смонтирован последний пролет. (Впоследствии, помнится, мост этот рухнул, и погибло много народу.) Я сел на пол и рассмеялся бы, если б мог. Ну что за актерка! С какой самоотдачей столько

лет поддерживать свой миф! И тебе заграничные папиросы, и этот легкий иностранный акцент. Жаль, что я не смог пролить слезу по тебе, добрая моя тетушка. А может быть, и пролил?

В последовавшие дни я не знал минуты покоя. Исходил весь квартал, заглядывая в памятные уголки. Все осталось прежним и при этом решительно переменилось. Я словно умер и возвратился на землю. Такими я представляю себе мертвецов, блуждающих по земле в состоянии полнейшего, невыразимого недоумения. Притаясь, я подолгу простаивал на Рю-стрит, наблюдая за домом. Никого; там больше никто не бывал.

Когда этот случай попал наконец в газеты, я вознегодовал, я чувствовал, что нарушены мои права собственника. Как будто бы эти свиньи-газетчики выкопали своими рылами какой-то неприятный эпизод моей личной жизни (*нашему корреспонденту стало известно...)* и размазали по восьми колонкам на потеху хихикающей публике. Что упоминалась моя фамилия, меня не трогало, это была моя прежняя фамилия, да и называлась она исключительно в историческом разрезе *(Предыдущее ограбление Уайтуотера),* спасибо Хэккету, что не притянул меня. Но меня задело за живое то, что из всей этой истории, из

этого прихотливого балета желания и обмана, в центре которого кружились и извивались А. и я, сделан грубый фарс, дурацкий хоровод — оскаленные рожи, мозолистые ладони, голые зады, как на картинах Брейгеля. Разве можно такую сложность выразить в нескольких газетных заголовках? *Дерзкое ограбление… Запрятанные сокровища… Тайна местонахождения полотен… Смерть охранника…* Так это все безлично, так… не по-человечески. Имя Мордена не упоминается, хотя так и видишь «нашего корреспондента», высовывающего голову между задами, как тянет голову школяр, знающий верный ответ. Он обозначен как *видный бизнесмен со связями в уголовном мире* — чересчур пышно звучит, по-моему, для заурядного, пошлого мошенника, каким знал его я. Он и А. фигурируют *как таинственная чета.* Папаня у них — *известный уголовный авторитет.* Приводятся слова сыскного инспектора Хэккета, что, мол, полиция ведет расследование согласно определенному плану. Мясник, Работник и Мясникова дочь водят хоровод всю ночь…

Ее я видел, разумеется, повсюду, как когда-то, в первые дни, после нашего первого поцелуя. Улицы кишели ее двойниками. Мир женщин сузился до единственного образа. Были места, где я так

явственно ощущал ее присутствие, что не сомневался: надо только постоять подольше, дрожа и страдая, и она обязательно явится, возникнет, вызванная силой моего чувства. В Суон-эллей, рядом с лавочкой, где продавалась рыба с картошкой, стояла узкая арка ворот, некогда они куда-то вели, но теперь арку заложили кирпичом, там разрослись сорные кусты и собирались для общения окрестные кошки; и там однажды, под покровом задумчивых ноябрьских сумерек мы стояли, отчаянно, неловко обхватив друг друга, задыхаясь, как два скалолаза в связке, летящие в бездонную пропасть, сцепившись в последнем объятии. И теперь я приходил туда и стоял, радуясь грязи и запустению, и ждал, звал ее явиться. А однажды вечером, со всех сторон теснимый тенями, содрогаясь в рыданиях, я расстегнулся и мастурбировал в жирный мусорный контейнер, давясь и твердя ее имя.

Все это нечетко и неопределенно, я знаю, все спутано и пусто и ничего не значит, кроме отчаяния. Но так надо. Пусть будут слезы и слюни, и брызги семени, и бутылочно-зеленая мокрота — мой след слизняка.

А Барбаросса по-прежнему жив-здоров в своем коробе. Я даже удивился, как ему удалось пе-

режить эти зимние месяцы, ночуя в подъезде точильщика? Должно быть, проспиртовался насквозь, как гомункул в банке с алкоголем. Сколько выносливости в самых хрупких существах, словно мне в укор! И что точильщик его не выставил, тоже удивительно. Разве не отпугивает клиентуру, что у тебя, прямо на пороге, проживает такой субъект, пусть у него и хватает догадливости исчезать в рабочие часы? Вообще бродяги, я замечаю, наглеют день ото дня, они просто, можно сказать, завладели городом, выбираются с задворков и, как хозяева, обживают площади и проспекты. На закате дня собираются толпой вокруг костра (что уж они там жгут) на пустыре против автобусной остановки, выпивают, дерутся и осыпают ругательствами прохожих. Даже когда они подходят поодиночке, и то довольно страшно. Один остановил меня как-то вечером, здоровенный такой детина, полный рот кривых зубов, встал поперек дороги, протянул руку, и ни слова, только смотрит выпученным глазом и не дает пройти. А вокруг ни души. Я уж думал, сейчас размахнется и ударит. Дыхание как из топки, физиономия лоснящаяся и смуглая, точно обугленная. Жуткое дело, можете мне поверить. Почему, интересно, так трудно заставить

себя взглянуть нищему в глаза? Боишься увидеть там собственное отражение? Да нет, это скорее нечто вроде стыда, и не только за него, но и вообще за всех нас, если это не слишком выспренно сказано. Я дал ему монетку, неудачно пошутив, что, мол, смотри не растрать эти деньги на еду, и заторопился прочь, сконфуженный и чем-то пристыженный. Мне бы ласково заключить его в объятия, глубоко вдохнуть его смрад и воскликнуть: «Друг мой, брат мой по страданию!» — как рекомендует мудрый мизантроп из Дрездена.

Барбаросса сменил трехцветный вязаный колпак, так нравившийся А., на гораздо менее живописную шапку-ушанку из искусственной кожи и, к тому же, обзавелся щегольской парой брюк в полоску, какие носят рассыльные в отелях и послы, когда вручают верительные грамоты. Интересно, между прочим, как они к нему попали? Да, кстати, насчет бороды: в чем дело, не знаю, но она у него, похоже, совсем не росла; а может, и росла, просто я не замечал, так как встречался с ним каждый день. Но зато я заметил, что он изо дня в день прибавлял в обхвате. На каких это хлебах он отрастил такое брюхо? Я ни разу не видел, чтобы он ел, а дрянное виски, или дешевый херес, или чем он там напивался — всегда

скромно драпируя бутылку в оберточную бумагу — уж конечно, не были достаточно питательны, чтобы превратить его в толстопузого Фальстафа. Может быть, приходило мне в голову, это у него от голода, как у бедных африканских детишек, чьи фотографии нам сейчас так часто показывают? У них у всех раздутые животики, потому что они голодают. Барбаросса каждый день ходил со своей ношей по одному и тому же маршруту, завершая его в исходной точке: по Гэбриель-стрит, на ту сторону Суон-эллей, поворот на Дог-лейн, потом на Фоун-стрит, оттуда под арку на набережную, поворот на Блэк-стрит, на Хоуп-эллей, мимо «Лодочника» и снова на Гэбриель-стрит; к этому времени день уже мерк, магазины понемногу закрывались, зажигались огни в незашторенных окнах верхних этажей, но только не в нашем, любовь моя, в нашем — никогда.

Тут я должен сделать признание. Однажды ночью проходя мимо подъезда, где спал Барбаросса, я задержался и дал ему здорового пинка. Зачем — сам не знаю, он никогда ничего худого мне не сделал. Он лежал в своем темном укрытии и спал, надо полагать, — если он вообще когда-нибудь спал — закутанный с головой, эдакая большая куча тряпья, и я, размахнувшись ногой, изо всей

силы пнул его в почки. Ощущение было такое, будто пинаешь мешок с зерном. Барбаросса почти не шелохнулся, не повернул даже головы взглянуть, кто это на него ни с того ни с сего напал, только слабо охнул, скорее, как мне показалось, с досады, чем от боли или удивления, как будто я всего лишь помешал ему досмотреть приятный сон. Мгновение я еще постоял в нерешительности, а потом пошел дальше своей дорогой, неуверенный, то ли это в самом деле было, то ли мне примерещилось. Но нет, это было, я вправду пнул беднягу, притом нипочем, просто так, со зла. Столько во мне еще неутоленной злости.

Для чего вообще эти его трубки? Не знаю. Не все имеет смысл, даже в этом мире.

Однажды я стал свидетелем трогательной встречи. Был серый денек, дул порывистый ветер и тонкими струями, как спицы зонта, летел на землю мелкий дождь. Барбаросса, свершающий свой путь, сворачивает на Хоуп-эллей и сталкивается лицом к лицу с Квазимодо. Он сразу отшатывается, всем своим видом выражая страх и недовольство. Они, оказывается, знакомы! Я тоже останавливаюсь и вжимаюсь спиной в ближайший подъезд, мне очень интересно, что будет дальше? Горбун одаривает несуна радост-

ной заговорщической улыбкой, но Барбаросса, прижав к груди связку трубок, отстраняет его и сердито проходит мимо. Отвергнутый, готовый расплакаться Квазимодо, понурив голову, шагает дальше. Вот тебе и compagnon de mis'ere[12]!

В те ужасные недели я много времени проводил у реки, особенно после наступления темноты. Мне нравилось чувствовать, как рядом дышит и колышется вода — в темноте это больше ощущаешь, чем видишь, — и катится мимо, точно огромное, могучее живое существо, молча мчащееся куда-то, и вдоль его многогорбого хребта быстро скользят городские огни. Конечно, сгорбившийся у парапета и устремивший на воду измученный взор, я должен был казаться со стороны потенциальным самоубийцей, как плащом, укутанным в свое страдание. Я бы не удивился, если бы в одну прекрасную ночь какой-нибудь заботник подбежал бы и ухватил меня за рукав в убеждении, что еще минута, и я переброшу ногу через парапет и спрыгну вниз. *«Не делайте этого, друг мой!* — вскричал бы он. — *Заклинаю, подумайте, сколь многого вы себя лишите!»* Как будто бы я и так уже не лишился всего.

---

[12] Примечания: 12
товарищ по несчастью *(фр.)*.

Но я понимал, что нельзя поддаваться жалости к себе. Мне не за что себя жалеть. Ведь раньше, прежде чем исчезнуть, она принадлежала мне. Теперь ее нет со мной, но хоть и нет, но она живет, какую бы форму ни приняла ее жизнь, а у меня с самого начала была одна цель: подарить ей жизнь. Приди и живи во мне, позвал я ее, и будь моей милой. Конечно, и я, со своей стороны, сознательно или нет, но надеялся, что буду жить в ней. Одного я не учел: что жизнь, в которую я так старался ее вовлечь, потребует в конце концов, чтобы я отпустил ее на все четыре стороны. Об этой частности я не подумал. И вот теперь я стоял среди снежной пустыни, одинокий барон Франкенштейн, держащий сброшенные бинты и остывшие электроды и гадающий, в стенах какого альпийского замка она сейчас бродит, какие ледяные пространства пересекает?

Когда я узнал, что тетя Корки оставила мне свои деньги, я купил шампанского, чтобы отпраздновать свалившееся с неба счастье с девушками из дома № 23. Да, я снова стал там бывать, но теперь, главным образом, для компании. Как тот старый щеголь на картине Лотрека, который вылезает из ландо и кланяется, приподняв цилиндр, а в окна, притворно улыбаясь, выглядывают худые лица. Я

любил посиживать у них в гостиной ранними вечерами, когда бизнес еще не в разгаре. Девушки, я думаю, смотрели на меня как на талисман, своего рода оберег. А моему взгляду у них открывалась жизнь простая и более естественная — вам это кажется извращением? Ну и конечно, память о тебе, она пряталась в полумраке жалких комнатенок, как тень, отбрасываемая свечой. В тот день, после того как было зачитано завещание, я привез в их дом сумку позвякивающих бутылок, и дом, как сумел, встрепенулся от послеполуденной дремы. Мы устроили небольшой праздник. Спьяну я разошелся и набрался наконец духу подойти к Рози, к нашей Рози. Я разглядел, как она красива, на свой испорченный лад; особенно хороши у нее ноги, длинные, крепкие, с великолепными коленками — редкая черта, насколько позволяет судить мой несомненно ограниченный опыт. Кожа у нее имеет удивительный грязноватый блеск, который почему-то действует возбуждающе (может быть, напоминает осязание тебя?). Этот грязноватый блеск, как я подозреваю, — результат курения, Рози — отчаянная курильщица, прямо наркоманка, не тебе чета, она постоянно дымит как паровоз, даже с каким-то бешенством, словно исполняет еще одну неприятную

обязанность наряду с остальными. Поначалу она держалась сдержанно; меня она узнала, справилась про тебя; я солгал. В ухе она по-прежнему носит безопасную булавку — интересно, вынимает ли она ее на ночь? Но постепенно шипучка стала оказывать действие, и Рози равнодушным саркастическим тоном, каким они всегда говорят о себе, рассказала мне свою историю. История стандартная: раннее замужество, пьяница-муж, вскоре сбежавший, надо самой кормить детей, работала на фабрике, фабрика закрылась, подруга посоветовала попробовать этот промысел, и вот она здесь. Она мокротно рассмеялась. Мы находились в комнате, которая у миссис Мэрфи именовалась «салоном». Рози обвела взглядом кретоновые шторы, продавленные кресла, покрытый клеенкой стол и, брезгливо раздув ноздри, выдохнула две параллельные струи дыма. «По крайней мере лучше здесь, чем на панели», — сказала она. Я положил ладонь ей на бедро. Простая, грубая, заезженная рабочая девчонка, твоя противоположность во всем, как раз то, что мне сейчас нужно, думал я. Но ничего хорошего не получилось. Когда мы поднялись наверх и легли на узкую бедную кровать — как быстро эти профессионалки умеют сбрасывать

одежду, — она потерлась своими бедрами о мои, лениво изображая страсть, а потом зевнула во весь рот, показав все пломбы и дыхнув мне в лицо теплым тухлым табачным духом. Свидетельницей она оказалась лучшей, чем участницей. Но все-таки после всего, когда я печально лежал на животе, уперев подбородок на руки, ощущая во всю длину прикосновение ее прохладного бока в пупырышках гусиной кожи — она, кажется, задремала на минутку — и глядя в просвет между шторами на дрожащие огни вдоль черной улицы, я внезапно почувствовал знакомый прилив прежнего трепетного восторга и приобнял ее в знак благодарности и нежного братства; а она в ответ тихонько хныкнула сквозь сон. (Все это, конечно, не совсем так и не вполне искренно; на самом деле я трепещу перед этой крепкой молодой женщиной, задыхаюсь от страха и возбуждения, дрожу в сознании ужасного, неискупимого греха; я как будто бы сожительствую с собственной матерью, Рози управляется со мной, как с большим младенцем, одаряя рассеянной лаской, которая неудержимо относит меня в горячий, тесный забытый мир детства. Все это уходит глубоко, ох как глубоко во тьму. У нее внизу живота — длинный и твердый узловатый шрам, точно кусок веревки;

от кесарева сечения, я полагаю. Сколько же она перенесла в жизни за свои двадцать лет. Надеюсь, кстати сказать, что вызвал твою ревность; надеюсь, что тебе больно.)

Как, однако, волнуют эти мгновения рефлексии, когда не только чувствуешь нечто, но и чувствуешь, что чувствуешь это. Тогда, лежа на затхлых простынях миссис Мэрфи и глядя на край обдутой ветром улицы за окном, я испытал необыкновенное состояние: моя душа словно бы отделилась от тела, и я был одновременно и я, и мой дрожащий образ, материализовавшийся наполовину из голого самосознания, а на другую половину из допущения всего того, что не есть я. Я и моя эктоплазма. Да еще в такие моменты я к тому же ощущаю себя как индивидуальность, как героически одинокую личность, владеющую искусством одиночества и умением довольствоваться тем, что есть, вроде тех безмолвных, настороженных полуночников, что жмутся в угловатых углублениях магазинных подъездов или сидят поодиночке в автомобилях с тихо журчащим мотором и пугают вас вдруг выступившим из темноты мученическим лицом или воспалившимся на мгновение огоньком сигаре-

ты. Esse est percipi[13]. И обратно: воспринимая, даешь бытие — как прикажете выразить эту мысль на кухонной латыни? Видишь, что ты со мной сделала своим исчезновением? Превратила меня в обитателя ночного полусвета, куда я всю жизнь опасался напоследок угодить. Конечно, в душе я всегда был одинок — а кто не одинок в душе? — но это сейчас совсем другое. Иной вид одиночества, прежде мной не испытанный.

Однако сказать, что я один на свете, было бы не вполне верно. Между нами, анахоретами, существует колдовская неизбежная близость. Мне теперь известны все знаки, все невольные тайные сигналы, по которым члены нашего братства признают друг друга: быстро отведенный встречный взгляд на улице, нервное притоптывание ногой в толпе на ветру в ожидании, пока сменится огонь светофора и появится зеленый человечек — наш истинный символ, наш талисман; чье-то особое присутствие у меня за спиной в очереди у кассы в супермаркете; сдавленное, сиплое молчание, которое того гляди сменится невнятным бормотанием, но так никогда и не сменяется. Дети тьмы, мы устраиваем себе

---

[13] Примечания: 13
Быть — это когда тебя воспринимают *(лат.).*

дневной ночлег в голых задних комнатах кабаков, в гулком сумраке библиотек и картинных галерей, даже в церквях — туда, я заметил, особенно почему-то тянет, когда идет дождь. Однако излюбленный наш приют, наш самый уютный дом — это дневной кинотеатр. Там мы сидим рассыпанные в бархатной тьме, как звезды по ночному небу, — неприкаянные одиночки и покинутые любовники, безвредные психи и тихие идиоты, и серийные убийцы, подкарауливающие очередную жертву, — запрокинув бледные лица к светлому экрану; сидим, словно снова спрятались в материнское чрево, и недоуменно смотрим новости из внешнего мира, слышим его возгласы и грубый смех, видим, как шевелятся, разговаривают и жуют других большие рты, как дула автоматов извергают огонь и течет алая кровь, ощущаем пульс жизни, которая окружает нас, но нас не касается. Я люблю это сонное, бессознательное времяпрепровождение, когда видения наплывают, как музыка, и ты вдруг материализуешься из этих движущихся скульптур с их невероятными локонами, и пухлыми губами, и медвяными, струящимися боками. Где ты. Отзовись. Где ты. В кино мы видим не дурацкие сцены, предназначенные развлекать и умиро-

творять нам подобных, — мы видим отражения самих себя, таких, какими представляемся себе в безумных грезах, какими могли бы стать, но не стали, видим знакомую сказку с переделанным концом, с сюжетом, который с самого начала казался таким многообещающим и теперь так чудесно разрешился. Из этих картин мы строим совершенно неправдоподобный образ самих себя, тем не менее живем в нем час, а то и два, а потом, спотыкаясь и моргая, выходим на свет дня и снова становимся тем, что мы есть, чем всегда были, и плачем в душе о том, что потеряли, так до конца и не осознав своей потери.

Чем мне теперь заняться? Можно, наверно, найти работу. Я часто думаю, что, возможно, этот простой выход и мог бы послужить мне спасением. Ничего серьезного, разумеется, имеющего отношение к науке или искусству, ничего такого напыщенного и избито-претенциозного. Скажем, я мог бы служить клерком, эдаким незаметным, серым человечком, какие корпят в конторах больших солидных фирм, неслышно, по-мышиному шныряя между столами в усыпанных перхотью заношенных до глянца пиджачках. Ясно вижу себя в этой роли беспросветно усердного писаря, который всегда держится особняком, с растерян-

ной улыбкой покорно терпит шутки молодежи и после работы тащится домой к холодному ужину у телевизора. Мечты, пустые мечты. Я бы не выдержал и недели. Младшему компаньону поручили бы объясниться со мной. "*Хм-м, э-э-э, н-да,* — хмурясь на дождь за окном и бренча мелочью в брючном кармане. — *Дело не в работе, с работой вы справляетесь вполне. Но, понимаете ли, ваши манеры, вот с ними сложность. Нелюбезно вы держитесь. Женщины жалуются, знаете ведь, какие они, мисс Мак-Гинти говорит, что ваша привычка смотреть в пустоту действует на нервы… Вы понесли недавно тяжелую утрату, не так ли?»* Да, сэр, в некотором смысле.

И я решил сходить к Хэккету. Его учреждение располагается в массивной серой псевдоготической крепости с металлической сеткой на окнах, с навесом на колоннах над входом, где я кротко дожидался, стараясь выглядеть невиновным, пока молодой полицейский звонил в кабинет инспектора, и при этом, зажав подбородком телефонную трубку, точно скрипку, скучливо, но внимательно меня разглядывал. На стенах оставшиеся с лета санитарные плакаты предостерегали от бешенства и аллергенной пыльцы конской полыни. Из подъезда вышли, смеясь,

два детектива в пуленепробиваемых жилетах, после них в воздухе еще какое-то время держался запах табака и пота. Полицейские отделения всегда приводят мне на ум школу — здесь тоже все дышит холодом, пылью, казенщиной и тихой безнадежностью. Под навес налетел порыв ветра с воли и принес с собой сор и запахи близящегося дождя. Я вздрогнул и очнулся, когда раздался голос молодого полицейского. «Третий этаж, первая налево, — сказал он мне, швырнув трубку. И после паузы с язвительной ухмылкой добавил: — сэр». Эти люди всегда учуют бывшего сидельца.

Кабинет Хэккета представлял собой выгороженный угол огромной низкой комнаты. Там было полно народу, сердитые люди с бумагами сновали от стола к столу, или сидели, положив на стол ноги, или горбились над громоздкими допотопными машинками. И снова этот классный запах пыли, старой бумаги, сгнивших яблочных огрызков. Хэккет за стеклянной дверью сделал мне знак войти. Он неловко встал мне навстречу, улыбаясь своей смущенной улыбкой. На шее у него, повязанный свободным узлом, болтался широкий линялый галстук, тесная куртка была, как всегда, застегнута на все пуговицы, но промежутки между ними растянулись и зияли,

как вертикальные восклицающие рты. На полу возле несуразно шикарного письменного стола из красного дерева гудел электрический камин. Я чуть было не прослезился от этого убожества. А в уголке, за маленьким металлическим столиком сидел пожилой полисмен в форме и самым крохотным лезвием перочинного ножика расковыривал обнаженные внутренности карманных часов; лысоватый, с задубелым обветренным лицом деревенского жителя, он дружески кивнул мне и подмигнул. Поперек потолка над Хэккетом тянулись цветные бумажные цепи, а к доске объявлений были приколоты ветки остролиста и рождественские поздравительные открытки. На одной я прочел надпись крупными корявыми буквами: ПАПЕ. Вот уж не думал, что Хэккет — человек семейный; я представил себе его в двух равномасштабных моделях: круглоголовой и с птичьими глазками, одна в брюках, другая в спортивном трико, и вынужден был подумать о смерти, чтобы не рассмеяться. Он заметил, что я смотрю на открытку, и сочувственно кашлянул. «И вы бедную тетушку свою похоронили», — вздохнул он, покачал головой и потупился.

При всем том, что я знаю, что я повидал и совершил в жизни, я все-таки считаю мир, в самой сути

своей, добрым. Оснований для этого у меня нет — да вы только взгляните вокруг — но таково уж мое мнение. Даже те люди — а я знаю их немало, можете мне поверить, — что совершили самые ужасные злодейства, могут оказаться потом такими же мягкосердечными и заботливыми, как и любые из… из вас (я чуть было не сказал: из нас). В этом и состоит так называемая проблема зла. Едва ли я когда-нибудь смогу найти ей удовлетворяющее меня решение. Взять, например, Хэккета с его смущенной улыбкой и грустным, сострадательным, застегнутым на все пуговицы видом; он сейчас казался существом совершенно безобидным.

— Я видел Франси, — сказал я.

Хэккет просиял, словно я упомянул его самого дорогого старого друга.

— Да, — покачал он головой, — пришлось-таки ткнуть ему разик-другой. Сержант вот, он совсем не слышал его ответов, я вынужден был без конца ему внушать, чтобы говорил погромче. Верно ведь, сержант? — Пожилой полицейский, не поднимая глаз от часового механизма, тихо басовито хохотнул. — Я и Папаню потянул по этому делу, — добавил Хэккет. — Ни слова от него не добился. Знаете, что он делает, когда…

— Знаю, — прервал его я. — Он мне рассказывал.

— Грязная свинья, — выругался Хэккет, но усмехнулся удрученно и одобрительно. Он откинулся на спинку своего вращающегося кресла, переплел пальцы на груди и взглянул на меня. — Я бы и вас тоже притянул, — сказал он. — Но я знал, что вы ничего не знаете. — Он подождал немного с презрительно-ласковой улыбкой на губах. Я молчал. Что я мог сказать? Я уже начал немного понимать его юмор. — Есть известия? — спросил он. — От ваших друзей, я имею в виду, от Мордена и… — и вопросительно вздернул брови. Я покачал головой. — Да, между прочим, — словно вдруг вспомнил он, — вы ведь были правы насчет картин. По крайней мере насчет одной из них. — Он наклонился к столу, порылся в лежащих на нем бумагах и протянул мне открытку. Она была сложена наискось, через цветную картинку на лицевой стороне тянулся сгиб, точно обескровленная полая вена. Мясники. *Жан Воблен (1684–1721), «Рождение Афины».* Я посмотрел на обороте: *Коллекция Беренса. Уайтуотер-Хаус».* Адресована Хэккету. И написано нарочито корявым почерком: *«Кто им всем отец?»* — Любит пошутить дядя, — заметил Хэккет, с ласковой

улыбкой наблюдая за мной. Он ткнул пальцем в репродукцию. — Им нужно было вывезти из страны вот эту. Наверно, покупатель нашелся. Какой-нибудь денежный мешок за границей. Остальные пока полежат, до другого случая.

Бурые предвечерние сумерки жались к зарешеченному стеклу, электрический камин шипел. За перегородкой, в большой комнате, кто-то громко засмеялся. Хэккет встряхнулся по-собачьи, развернул кресло, поднял на стол ногу в коричневом башмаке и, прищурив глаз, прицелился начищенным носком.

— Семь подделок, — задумчиво проговорил он. — Кто бы мог подумать, что восьмая будет подлинная? Во всяком случае, не наш друг Шарп. Он был так рад возможности поиздеваться над вами. — Хэккет опять печально посмотрел на меня своими перекошенными, непараллельными глазами. На скуле у него дергался нерв. — Мы уже не один год так состязаемся, Папаня и я. Это вроде шахматного матча по переписке. Он делает ход и шлет мне, я делаю ход и шлю ему. — Он рывком снял ногу со стола, опять подался вперед и что-то невидимое передвинул на столешнице. — Если выигрыш — его, я проигрываю, если выигрыш мой, проигрывает он. В этот раз была его очередь.

Он всунул единственный подлинник в штабель подделок, рассчитывая на то, что из нас никто не заметит. И никто не заметил. Но ему бы и горя мало, если бы мы и углядели. Для него главное — сама игра. Я же говорю, у него ум за разум зашел.

— А остальные семь? — спросил я.

Он пожал плечами и снова переложил на столе с места на место что-то несуществующее.

— Он переждет некоторое время, а потом сделает новый ход. Посмотрим, кто выиграет в следующий раз. У нас с ним состязание идет по-крупному. Да, — вздохнул он, и вздох у него получился почти счастливым. — Он им всем отец.

Сержант за боковым столиком надавил на какую-то деталь внутри часов, и механизм отозвался тихим серебряным звоном.

Мы с Хэккетом спускались по гулкой лестнице. Снизу доносились громкие мужские голоса, сливаясь в возбужденный гомон. Произошло еще одно убийство, как выяснилось потом, — последнее.

— Выпустил из нее всю кровь до капли, — сказал Хэккет. — Слишком много зла в мире.

На нижней ступеньке сидел белый как мел молодой детектив, трудно дышал и очумело смотрел себе под ноги на заляпанные блевотиной

ботинки, а над ним стояли двое постарше и орали друг на друга. Мы боком прошли мимо, они на нас даже не взглянули. Под навесом мы остановились, не находя подходящих слов прощания. Над улицей сгустилась грязная декабрьская тьма, смешанная с дождем.

— А дочка? — спросил Хэккет. — От нее вы тоже не получали вестей?

Поперек освещенного дверного проема косо летел дождь. Сыщики у нас за спиной все еще пререкались.

— Дочка? — переспросил я. Но язык плохо слушался, и я спросил еще раз: — Что еще за дочка?

Хэккет прищурился. Не знаю, о чем уж он там подумал, со своей стороны, чтобы не рассмеяться мне в лицо.

— Да девица эта, Морденова сестра. Эта парочка, Папаня же их… — Он озабоченно, смущенно тронул меня за рукав, словно гость на похоронах, выражающий соболезнование в связи с тяжелой утратой. — Вы разве не знали?

А мне в эту минуту вспомнился ее рассказ о том, как она скучала в детстве и часами одна била теннисным мячиком о торец дома. Тогда-то я, конечно, воображал тихий загородный дом на холме над каким-то большим городом, солнеч-

ные блики на белых стенах, шофера в кожаных крагах, который, скинув тужурку, протирает посольский лимузин. А теперь мне представился ряд бедных однотипных домишек с усохшими палисадничками, женщина, высунувшаяся из верхнего окошка, хриплым голосом кличет ее домой, а малыш на трехколесном велосипедике летит кувырком в канаву и жалобно скулит, и *чпок!* — девчонка с удвоенной яростью ударяет ракеткой по мячику. Всегда и везде ее сопровождала не тень умершей сестры-близнеца, а неотступный призрак такого прошлого.

Рождение Афины. Коллекция Беренса.

Подумать только об этих существах, которые даже и не люди, а обитатели небес. У бога ужасно болит голова, сын взмахивает топором, и на свет выходит дева, лук и щит держащая. Она идет в мир, впереди нее летит ее сова. Смеркается. Видишь эти высокие облака, это бескрайнее, недоступное небо? Это — все, что сохранилось. Сгиб проходит наискось, как обескровленная полая вена. Все переменилось, но осталось прежним.

Вчера я видел ее. Не знаю, каким образом, но это правда. Удивительнейшее происшествие. Я до сих пор еще не пришел в себя. Я сидел в

том кабаке на Гэбриел-стрит, в котором она так любила бывать. Там, разумеется, все поддельное: и деревянные панели на стенах ненастоящие, и фальшивая медь — на самом деле краска, и деревянный вентилятор под потолком размерами с самолетный пропеллер только сбивает ленивые арабески из висящего в воздухе табачного дыма. Я-то хожу туда понятно почему. Сижу я в задней комнате, кручу в ладонях стакан с выпивкой и баюкаю свое щемящее сердце, рядом — широкое окно, точно испуганно вытаращенный глаз, и в нем за размашистой дугой улицы открывается город. Улица, как обычно, забита народом. Солнце еще неуверенно, но блестит — да, вопреки всем моим стараниям, наступила весна. И вдруг я вижу ее — вернее, нет, не вдруг, в этом не было ничего неожиданного, внезапного. Просто смотрю: идет она в лучах водянистого солнечного света, пробирается сквозь толпу в своем черном пальто, на каблуках-шпильках, семенит такой знакомой походкой, не сгибая колен, голова опущена и ладонь прижата к груди. Куда она так самозабвенно спешила? Весь город лежал у ее ног, купаясь в апреле и в предчувствии вечера. Я говорю она, хотя, конечно, знаю, на самом деле это не она, какое там. И все-таки она. Как бы это

выразить? Есть она, которая исчезла, которая где-то в южных пределах и навсегда потеряна для меня; а есть вот эта, другая, вышедшая прямо из моей головы и спешащая по солнечной улице по каким-то своим делам. Куда, зачем? Жить — если я могу назвать это жизнью; а я смогу.

Напиши мне, просила она. Напиши мне. Я написал.